

- [Алан Маршалл](#)
 - [Об Алане Маршалле и его книге](#)
 - [Предисловие к русскому изданию](#)
 - [Я умею прыгать через лужи](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
 - [Глава 21](#)
 - [Глава 22](#)
 - [Глава 23](#)
 - [Глава 24](#)
 - [Глава 25](#)
 - [Глава 26](#)
 - [Глава 27](#)
 - [Глава 28](#)
 - [Глава 29](#)
 - [Глава 30](#)
 - [Глава 31](#)
 - [Глава 32](#)
 - [Глава 33](#)
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Алан Маршалл
Я умею прыгать через лужи

Об Алане Маршалле и его книге

Обычно книги больше рассказывают об авторе, чем личное с ним знакомство. С Аланом Маршаллом — крупным современным писателем Австралии все у меня получилось наоборот. До знакомства я прочел его книгу со странным, на наш слух, названием «Я умею прыгать через лужи». Эта книга, искренняя и страстная, сразу пленила меня. Повествовалось в ней о мальчике-калеке, которого тяжелая болезнь в раннем детстве лишила возможности ходить. О его страданиях. О его упорстве и о том, как, пользуясь костылями, он учился двигаться самостоятельно.

Мальчик был сыном объездчика лошадей. Он рос среди необычной, буйной и суровой природы. С детства общался с людьми очень тяжелого труда, с аборигенами, которые после колонизации Австралии стали пасынками своей изобильной родины, едва добывающими на хлеб очень тяжелым трудом. И от них, от этих людей труда, от обездоленных, но не сломившихся, маленький австралиец воспринимал их мудрость, их трудолюбие, их душевное богатство. Необычная это была книга. Она и в малой мере не повторяла автобиографические книги о детстве и юности, принадлежащие перу великих писателей. От нее так и веяло необычным могуществом природы, на фоне которой с особой болью вырисовывался недуг маленького, мужественного человека. Но при всем том книга была глубоко оптимистическая, улыбочивая, пропитая здоровым народным юмором. Словом, книга эта, изданная Детгизом для детей, по-настоящему увлекла меня, взрослого и не молодого уже человека. Как-то очень заинтересовала в авторе, и я живо представил его этаким худощавым, обиженным природой человеком, смотрящим на мир мудрыми, печальными глазами.

Так было по прочтении первой книги Алана Маршалла. Потом я узнал, что он прилетел в Москву. Узнал и удивился — каково-то ему с костылями совершить такое гигантское путешествие через добрую половину земного шара, да еще со многими пересадками в пути. Мы назначили свидание в ресторане нашего литературного клуба, и вышло так, что я немного опоздал. Народу в этот час было не очень много. Я знал, что Алан уже здесь, и стал искать глазами худощавого человека с мудрыми, печальными глазами.

И вот из-за стола, за которым сидели мои друзья, знатоки литератур английского языка, вдруг поднялся могучего сложения крупный человек, с

красиво вылепленной, большой головой, с загорелым лицом, со светлыми глазами, глазами, в которых светилась приветливая улыбка. Он широко улыбался мне навстречу, видимо забавляясь тем, что глава мои, несколько раз скользнув по его лицу, продолжали искать кого-то другого. Только тут заметил я, что богатырь этот стоит немного странно, прочно опираясь о стол обеими, большими, очень сильными руками.

Так мы познакомились. И в первый же день этого знакомства образ человека-страдальца с печальными; глазами, созданный моим воображением, разметался в пух и прах. Да, конечно, все было так, как описано в его книге. Могучий торс вырастал из неподвижных, высохших ног. Были, разумеется, и костыли. Но, несмотря на все, человек этот был необыкновенно подвижен, продвигался быстро, нес свое тело легко и, я бы даже сказал, изящно, и лицо его при этом неизменно хранило бодрое, жизнерадостное выражение, а в светлых глазах не угасали огоньки юмора.

Потом, познакомившись поближе, я узнал, что к человеку этому, столь безжалостно обиженному судьбой, меньше всего подходит название калека. Скажу, не боясь впасть в преувеличение, что среди множества иностранных писателей, которых я знаю и с которыми дружу, нет человека более активного, деятельного, подвижного, да, именно и подвижного, чем он. Он постоянно в разъездах по своей огромной, редко населенной стране. Собирает материалы. Читает лекции. Выступает на рабочих митингах. Он в курсе всех дел своего народа и один из самых активных граждан своей страны.

С юных лет он мечтал стать писателем и осуществил эту свою мечту. Как человек и как писатель он посвятил себя активной борьбе против социальной несправедливости и неустанно ведет эту борьбу и в жизни и в литературе. Он давний и пламенный друг Советского Союза. Он видит в нашем государстве, в нашем социальном строе прообраз будущего мира на земле. Он верит в социализм, в его победу, и даже в труднейшие дни исторических испытаний, когда многие из друзей страны нашей начинали колебаться или даже временно покидали нас, Алан Маршалл был непоколебим в своей вере в социализм и в первую страну социализма.

И тогда, в 1964 году, после первой своей поездки по Советскому Союзу, поездки большой и утомительной, он, легко перенеся все дорожные тяготы, писал:

«Поездка в Советский Союз породила у меня, как у писателя, живые мысли; Я хочу во весь голос рассказать о тех чудесах, которые я видел там, чтобы австралийцы, менее счастливые, чем я, могли разделить со мною радость открытий, сделанных во время этого путешествия».

Может быть, это была просто вежливая фраза, которой он благодарил гостеприимных хозяев? Ничего подобного. Мой друг Алан не из тех, кто говорит протокольные комплименты. Вот уже два с лишним года он на деле осуществляет эти слова. Пишет статьи. Читает в университетах и колледжах лекции о Советском Союзе: Выступает среди рабочих. Настоящий человек, преданный своей идее.

Он уже не молод. Ему давно перевалило за шестьдесят. Но какое юношеское пламя в его светлых глазах! Какая в нем вера и убежденность!

Это творческий человек до мозга костей. Даже в своих разговорах он продолжает творить и рассказывает так интересно, что каждый такой его рассказ, оброненный хотя б в застольной беседе, — это почти готовая новелла. Его можно записывать и сдавать в печать.

Так и случилось однажды. Алан рассказал друзьям о том, как много лет назад он с другом-аборигеном остановили лошадей на мысе Йорк, на берегу океана, и увидели стаю птиц тяжело опускавшихся на мокрый прибрежный песок. Это были птицы из Сибири, пересекавшие материк и океан, чтобы перезимовать в теплой Австралии.

— Они живут у нас. Набираются сил, а в ответ на наше гостеприимство уничтожают у нас вредных насекомых, — рассказывал писатель, — потом они улетают в свою Сибирь вить гнезда и выводить птенцов, а наша страна становится лучше, потому что на полях: наших меньше вредителей!

И, обобщая, писатель сообщил:

С тех пор прошло много лет. Я встречал не мало советских людей на нашей земле, и каждый их приезд делает мою Австралию немного лучше. Вы оставляете у нас частицу своего доброго сердца, и нам становится легче жить.

Оксана Кругерская записала этот прелестный рассказ Алана, и он, этот рассказ, как бы оброненный автором на дороге, впервые вышел на русском, а не на английском языке.

Мы же — советские люди, советские читатели — можем сказать, что и сам автор рассказа является такой вот перелетной птицей, которая, прилетая к нам, оставляет у нас частицу своего сердца, своей души, запечатленную в статьях и книгах, и тем делает нас богаче, помогает нам жить.

Таким даром писателя советским читателям является автобиографическая трилогия Алана Маршалла. В ней три части: уже знакомая нам «Я умею прыгать через лужи» и продолжающие ее — «Это трава» и «В сердце моем».

Перед читателем проходит жизнь мальчика, юноши, мужчины — человека нелегкой судьбы, с зорким глазом и широко раскрытым сердцем, чутко реагирующим на беды и боль своего народа. Это книги суровые, мужественные, правдивые. И хотя писатель вряд ли в них что-то домысливает — судьба его решается как судьба типичного австралийца-труженика, прокладывающего свой нелегкий жизненный путь сквозь джунгли капиталистического общества.

Книга смело вводит советского читателя в мир мало знакомой ему страны, по образы этих книг, в ходе чтения, становятся нам близкими и дорогими, и невольно, забывая о том, что это всего только книга, мы начинаем волноваться за их судьбу, переживать их невзгоды, печалиться и радоваться вместе с ними.

И уже как друга начинаем чувствовать автора и лирического героя этих книг, человека с тонким, пронизательным лицом, с добрым сердцем, открытым для жизни со всеми ее печалью и радостями.

Алан Маршалл — один из тех счастливых писателей, который своими книгами, статьями, публичными лекциями, рефератами, выступлениями, всей нелегкой жизнью своей помог многим найти свое место, обрести веру в свои силы, ощутить радость бытия. И книга, которую вы сейчас начнете читать, это он сам, мужественный, неутомимый, жизнерадостный, с веселой хитринкой в светлых, совсем молодых глазах.

Вот все, что я счел долгом сказать вам, читатель, напутствуя вас в путешествие по этой книге, по жизни моего австралийского друга Алана Маршалла.

Б. Полевой

Предисловие к русскому изданию

Впервые все три части моего автобиографического романа выходят под одной обложкой. И как радостно, что это исключительно важное для меня событие произошло в Советском Союзе, в стране, которой я, как писатель, обязан столь многим и с народом которой связан уважением и дружбой.

События, о которых рассказывается в этой книге, развертываются на фоне обстановки специфически австралийской. Речь идет о периоде, который ушел в прошлое — машины начали вытеснять лошадей, а синдикаты — поглощать мелкие предприятия, созданные инициативой одиночек.

Я рос в стране, непохожей на вашу. Здесь листья деревьев обращены к земле, чтобы укрыться от солнца, тогда как в вашей стране сочная листва тянется навстречу солнцу. Мою землю населяли редкостные животные и птицы, солнце жгло у нас немилосердно, засуха и лесные пожары несли разорение фермерам.

Я родился в 1902 году, через сто четырнадцать лет после того, как в Австралии появились первые поселения ссыльных каторжан. Отец мой, родившийся в начале шестидесятых годов прошлого столетия, знал этих поселенцев, на спинах их еще сохранились следы каторжной плети. Таким образом, можно сказать, что в этой книге говорится о молодой стране, в то время как история вашей страны простирается далеко в глубь веков.

И хотя обстановка, в которой развертывается действие этой книги, для вас необычна, герои ее, я надеюсь,

будут вам близки. Уверен, что мой отец чувствовал бы себя в Советском Союзе как дома. Я рос под влиянием отца, и когда впервые посетил Советский Союз, мне показалось, будто я приехал на свою родину. Люди моего детства, так же как и ваши люди до революции, мечтали о земле обетованной для трудящихся, о стране, где у всех были бы равные права. Но осуществить, развить эту мечту суждено было людям вашей страны.

В трех книгах, объединенных в этом томе, жизнь моя предстает передо мной как шествие к своего рода победе. Путь мой часто пролегал и среди пустых однообразных равнин, но я старался там не задерживаться. Много препятствий одолевал я на своем пути, были в нем свои вершины, моменты озарения, когда передо мной раскрывался вдруг весь предстоящий мне

путь. Эти моменты сами по себе могли быть вполне заурядными, но для меня они были полны значения. Надеюсь, они окажутся значительными и для вас.

Я описал в этой книге все перевалы и вершины моей жизни. В том или ином виде они, как мне кажется, встречаются на пути любого человека.

Один советский друг сказал мне как-то, что ему нравится повесть «Я умею прыгать через лужи»^[1], в ней, по его словам, он узнал и свое детство. Я был счастлив услышать это, ибо я хотел в повести о себе рассказать о жизни всех детей.

В этой книге встречаются и дурные люди — ведь и в жизни они есть, — я же пишу именно жизнь. Но, надеюсь, я ни на минуту не потерял из виду, что всех нас, мужчин и женщин, лепит общество, в котором мы живем, и часто, очень часто человеческие слабости — результат влияния определенных условий общества, а не недостатков характера самих людей. Я убежден, что, человек от природы добр. Если же он оказывается дурным, значит, его сделали таким обстоятельства.

Книга моя утверждает именно эту истину. Я писал свою повесть не для одних только австралийцев, но также и для вас, дорогие советские читатели, для всех людей, которые верят в величие Человека.

Алан Маршалл

Австралия, штат Виктория, Октябрь 1966 г.

Я умею прыгать через лужи

Моим дочерям Гепсибе и Дженифер, которые тоже умеют прыгать через лужи

Глава 1

Лежа в маленькой комнате «парадной» половины нашего деревянного домика в ожидании повитухи, которая должна была помочь моему появлению на свет, моя мать могла видеть из окна огромные эвкалипты, покачивающиеся на ветру, зеленый холм и тени облаков, пронесившихся над пастбищами.

— У нас будет сын, — сказала она отцу. — Сегодня мужской день.

Отец наклонился и посмотрел в окно, туда, где за расчищенными выгонами высилась темно-зеленая стена зарослей.

— Я сделаю из него бегуна и наездника, — с решимостью произнес отец, Клянусь богом, сделаю!

Когда приехала повитуха, отец улыбнулся ей и сказал:

— Право, миссис Торенс, я думал, пока вы приедете, малыш уже будет бегать по комнате.

— Да, мне надо бы приехать еще с полчаса назад, — резким тоном ответила миссис Торенс. Это была грузная женщина, с пухлым смуглым лицом и решительными манерами. — Но когда нужно было запрягать, Тед все еще смазывал бричку... Ну, а как вы себя чувствуете, дорогая? — обратилась она к моей матери. — Уже начались схватки?

— И пока она говорила со мной, — рассказывала мне мать, — я вдыхала запах сделанной из акации ручки хлыста, висевшего на спинке кровати, — он принадлежал твоему отцу, — и видела, как ты мчишься галопом на лошади и размахиваешь этим хлыстом, высоко подняв его над головой, точно так же, как делал твой отец.

Когда я появился на свет, отец сидел на кухне с моими сестрами. Мэри и Джейн хотели, чтобы у них был братец, которого они могли бы водить с собой в школу, и отец обещал им, что у них будет брат, по имени Алан.

Миссис Торенс принесла меня, чтобы показать им; я был завернут в пеленки из красной фланели. Она положила меня на руки отцу.

— Как-то странно было смотреть на тебя, — говорил он мне потом. — У меня сын!.. Я хотел, чтобы ты все умел делать: и верхом ездить, и

справиться с любой лошастью — вот о чем я думал тогда... И, конечно, чтобы ты хорошо бегал... Все говорили, что у тебя сильные ножки. Я держал тебя на руках, и это было как-то странно. Я все думал, будешь ли ты похож на меня или нет.

Вскоре после того как я начал ходить в школу, я заболел детским параличом. Эпидемия вспыхнула в Виктории в начале девятисотых годов, а потом из густонаселенных районов перекинулась в сельские местности, поражая детей на уединенных фермах и в лесных поселках. В Туралле я был единственной жертвой эпидемии, и на много миль вокруг люди говорили о моей болезни с ужасом. Слово «паралич» они связывали с идиотизмом, и не одна двуколка останавливалась на дороге, а ее хозяин, перегнувшись через колесо, чтобы посудачить с повстречавшимся приятелем, задавал неизменный вопрос: «А ты не слышал — дурачком-то он не стал?»

На протяжении нескольких недель соседи старались побыстрее проехать мимо нашего дома и в то же время настороженно, с каким-то особым интересом поглядывали на старую ограду, на необъезженных двухлеток в загоне и на; май трехколесный велосипед, валявшийся возле сарая. Они звали своих детей домой пораньше, кутали их потеплей и с тревогой всматривались в их лица, стоило им кашлянуть или чихнуть.

— Болезнь поражает человека, как божья кара, — говорил мистер Картер, булочник, который твердо верил в это. Он был директором воскресной школы и однажды среди других объявлений, обводя учеников мрачным взглядом, торжественно возгласил:

— В следующее воскресенье на утреннем богослужении преподобный Уолтер Робертсон, бакалавр искусств, будет молиться о скорейшем исцелении этого стойкого мальчика, пораженного страшной болезнью. Просьба ко всем присутствовать.

Отец узнал об этом и, встретив на улице мистера Картера, стал ему объяснять, нервным движением руки покручивая свои рыжеватые усы, как я умудрился подцепить болезнь:

— Говорят, что микроб попадает внутрь при вдохе: он носится по воздуху всюду, И нельзя узнать заранее, где он появится. Он, наверно, как раз пролетал мимо носа моего сынишки; тот вдохнул воздух — а тут все было кончено. Он упал как подкошенный. Если бы в ту минуту, когда пролетал микроб, он сделал бы не вдох, а выдох, ничего бы не случилось. — Он помолчал и грустно добавил: — А теперь вы молитесь за него.

— Спина создана для ноши, — с набожным видом пробормотал

булочник.

Он был членом церковного совета и в каждой беде видел руну божью. С другой стороны, по его мнению, за всем, что приносило людям радость, скрывался дьявол.

— На все божья воля, — произнес он с довольным видом, убежденный в том, что слова эти понравятся всевышнему. Он не упускал ни одного случая снискать расположение господина.

Отец презрительно фыркнул, выражая этим свое отношение к подобного рода философии, и ответил довольно резко:

— Спина моего сына вовсе не была создана для ноши, и позвольте сказать вам: никакой ноши и не будет. Уж если говорить о ноше, то вот кому она досталась. — И он притронулся пальцем к своей голове.

Немного спустя он стоял у моей кровати и с тревогой спрашивал:

— Алан, у тебя болят ноги?

— Нет, — ответил я ему. — Они соевем как мертвые.

— Черт! — воскликнул он, и его лицо мучительно исказилось.

Мой отец был худощав, бедра у него были узкие, а ноги кривые, следствие многих лет, проведенных в седле: он был объездчиком лошадей и приехал в Викторину из глуши Квинсленда.

— Я это сделал из-за детей, — объяснял он, — ведь там, в глуши, школ нет и в помине. Если бы не они, никогда бы я оттуда не уехал!

У него было лицо настоящего жителя австралийских зарослей — загорелое и обветренное; пронизательные голубые глаза прятались в морщинах, порожденных ослепительным солнцем солончаковых равнин.

Один из приятелей отца, гуртовщик, как-то приехавший навестить нас, увидев отца, который вышел к нему навстречу, воскликнул:

— Черт возьми, Билл, ты и сейчас прыгаешь не хуже эму!

Походка у отца была легкой и семенящей, и ходил он всегда с опущенной головой, глядя в землю; эту привычку отец объяснял тем, что он родом из «страны змей».

Иногда, хватив рюмку-другую, он носился на полуобъезженном жеребце по двору, выделывая курбеты среди валявшихся там кормушек, поломанных старых колес и оглобель и разгоняя клохчущих кур; при этом он испускал оглушительные вопли:

— Неклейменный дикий скот! Наплевать на все! Эй, берегись!

И, осаживая коня, он срывал с головы шляпу с широкими полями и размахивал ею, как бы отвечая на приветствия, и раскланивался, поглядывая при этом на дверь кухни, где обычно в таких случаях стояла мать, наблюдавшая за ним с улыбкой — чуть насмешливой, любящей и

тревожной.

Отец любил лошадей не потому, что с их помощью он зарабатывал на жизнь, а потому, что находил в них красоту. Он с удовольствием рассматривал каждую хорошо сложенную лошадь. Наклонив голову набок, он медленно похаживал вокруг нее, тщательно изучая все ее стати, ощупывая ее передние ноги в поисках ссадин или припухлостей, говоривших о том, что ей приходилось падать.

— Хороша такая лошадь, — не раз повторял он, — у которой крепкая, добрая кость, лошадь с длинным корпусом и к тому же рослая.

Для него лошади не отличались от людей.

— Это факт, — утверждал он. — Я их довольно повидал на своем веку. Иные лошади, если чуть дотронешься до них кнутом, дуются на тебя, точно дети. Есть такие ребятишки: надери им уши — и они с тобой много дней говорить не будут. Затаят обиду. Понимаешь, не могут забыть. Вот и с лошадьми то же самое: ударь такую кнутом — и сам не рад будешь. Поглядите на гнедую кобылу Коротышки Дика. Она тугоузда. А я ее заставил слушаться узды. Суди сам... Она вся в своего хозяина — Коротышку. Кто захочет его взнуздать, порядком намучится. Он мне до сих пор фунт должен. Ну, да бог с ним. У него и так ничего за душой нет...

Мой дед по отцу, рыжеголовый йоркширец, был пастухом... Он эмигрировал в Австралию в начале сороковых годов прошлого века. Женился он на ирландской девушке, приехавшей в новую колонию в том же году. Я слышал, что дед явился на пристань, как раз когда пришвартовался корабль с ирландскими девушками, прибывшими в Австралию, чтобы устроиться прислугой.

— Кто из вас согласится сразу выйти за меня замуж? — крикнул он столпившимся у поручней девушкам. — Кто не побоится?

Одна крепкая голубоглазая ирландка с черными волосами и большими руками оглядела его и после минутного раздумья крикнула в ответ:

— Я согласна! Я выйду за тебя замуж!

Она перелезла через поручни и прыгнула вниз... Он подхватил девушку, взял ее узелок, и они вместе ушли с пристани; он увел ее, обняв за плечи.

Отец, самый младший из четырех детей, унаследовал от своей матери ирландский темперамент.

— Когда я был еще малышом, — рассказывал он мне, — я угодил одному возчику пониже уха стручком акации, — а ты ведь знаешь, если сок попадет в глаза, можно ослепнуть. Парень чуть не спятил от злости и бросился на меня с дубиной. Я кинулся к нашей хижине и заорал благим

матом: «Мама!» А тот мальй, черт побери, шутить не собирался. Когда я добежал до дома, он меня почти настиг. Казалось, что спасения нет. Но мать асе видела и уже ждала у дверей, держа наготове котелок с кипящей водой. «Берегись, — крикнула она, это кипяток! Подойди только, и я ошпарю тебе физиономию...» Черт возьми, только это его и остановило. Я вцепился в подол ее платья, а она стояла и смотрела на парня, пока он не ушел.

Мой отец начал работать уже с двенадцати лет. Все его образование ограничилось несколькими месяцами занятий с вечно пьяным учителем, которому каждый ученик, посещавший дощатую лачугу, служившую школой, платил полкроны в неделю.

Начав самостоятельную жизнь, отец колесил от фермы к ферме, нанимаясь объезжать лошадей или перегонять гурты. Свою молодость он провел в глухих районах Нового Южного Уэльса и Квинсленда и мог без конца о них рассказывать. И благодаря рассказам отца эти края солончаковых равнин и красных песчаных холмов были мне ближе, чем луга и леса, среди которых я родился и рос.

— В тех глухих местах, — как-то сказал мае отец, — есть что-то особенное. Там чувствуешь настоящую радость. Заберешься на поросшую сосной гору, разведешь костер...

Он умолк и задумался, глядя на меня взволнованно и тревожно. Потом он сказал:

— Надо будет сделать какое-нибудь приспособление, чтобы твои костыли не увязали в песке: мы ведь когда-нибудь отправимся в те края.

Глава 2

Вскоре после того как я заболел, мышцы на моих ногах стали ссыхаться, а моя спина, прежде прямая и сильная, искривилась. Сухожилия начали стягиваться и затвердели, так что мои ноги постепенно согнулись в коленях и уже не могли разгибаться.

Это болезненное натяжение сухожилий под коленями пугало мою мать, которая опасалась, что мои ноги навсегда останутся согнутыми, если не удастся как можно скорее выпрямить их. Глубоко встревоженная, она вновь и: вновь приглашала доктора Кроуфорда, чтобы он назначил такое лечение, которое позволило бы мне нормально двигать ногами.

Доктор Кроуфорд, который плохо разбирался в детском параличе, недовольно хмурил брови, наблюдая, как мать каталась вернуть жизнь

моим ногам, растирая их спиртом и оливковым маслом — средство, рекомендованное женой школьного учителя, утверждавшей, что оно излечило ее от ревматизма. Проронив замечание, что «вреда от этого не будет», Кроуфорд решил оставить вопрос открытым до тех пор, пока он не наведет в Мельбурне справки об осложнениях, которые бывают после этой болезни.

Доктор Кроуфорд жил в Балунге, небольшом городке в четырех милях от нашего дома, и навещал больных на окрестных фермах, только когда заболевание было очень серьезным. Он разъезжал в шарабане с полуподнятым верхом, на фоне голубой войлочной обивки которого эффектно выделялась его фигура, когда он кланялся встречным и приветственно помахивал кнутом, подгоняя свою серую лошадку, трусившую рысцей. Этот шарабан приравнивал его к скваттерам^[2], правда, лишь к тем из них, чьи экипажи не имели резиновых шин.

Он неплохо разбирался в простых болезнях.

— Могу сказать вам с полной уверенностью, миссис Маршалл, что у вашего сына не корь.

Полиомиелит принадлежал к числу тех болезней, о которых он почти ничего не знал. Когда я заболел, он пригласил на консилиум еще двух врачей, и один из них установил у меня детский паралич.

Этот врач, который, казалось, так много знал, произвел на мою мать большое впечатление, и она стала его расспрашивать, но он ответил только:

— Если бы это был мой сын, я бы очень тревожился.

— Еще бы, — сухо заметила мать и с этой минуты утратила к нему всякое доверие.

Но доктору Кроуфорду она продолжала верить, потому что после ухода своих коллег он сказал:

— Миссис Маршалл, никто не может предугадать, останется ли ваш сын калекой или нет, будет он жить или умрет. Я думаю, что он будет жить, но все в руке божьей.

Эти слова утешили мою мать, но на отца они произвели совсем иное впечатление. Он заметил, что доктор Кроуфорд сам признал, что никогда не имел дела с детским параличом.

— Раз они начинают толковать, что «все в руке божьей», — значит, пиши пропало, — сказал он.

В конце концов доктору Кроуфорду все же пришлось решать, как быть с моими сведенными ногами. Взволнованный и неуверенный, он тихо выбивал дробь своими короткими пальцами по мраморной крышке умывальника у моей постели и молча смотрел на меня. Мать стояла рядом

с ним в напряженной, неподвижной позе, как обвиняемый, ожидающий приговора.

— Так вот, миссис Маршалл, насчет его ног. М-м-м... — да... Боюсь, что остается только одно средство. К счастью, он храбрый мальчик. Нам надо выпрямить его ноги. Это можно сделать только силой. Мы должны их насильно выпрямить. Вопрос — как это сделать? Лучше всего, по-моему, каждое утро класть его на стол и вам всей тяжестью наваливаться на его колени и давить на них, пока они не выпрямятся. Ноги надо вплотную прижать к столу. И делать это, скажем, три раза. Да, думаю, трех раз достаточно. А в первый день, скажем, два раза.

— Это будет очень больно? — спросила мать.

— Боюсь, что да. — Кроуфорд помедлил и добавил: — Вам понадобится все ваше мужество.

Каждое утро, когда мать укладывала меня на спину на кухонный стол, я смотрел на висевшую над камином картину, изображавшую испуганных лошадей. Это была гравюра: две лошади, черная и белая, в ужасе жались друг к другу, а в нескольких футах от их раздувавшихся ноздрей сверкали зигзаги молнии, вырывающейся из темного хаоса бури и дождя.

Парная к ней гравюра, висевшая на противоположной стене, изображала этих же лошадей в тот момент, когда они в бешеном испуге уносились вдаль: гривы их развевались, а ноги были растянуты, как у игрушечной лошадки-качалки.

Отец, принимавший все картины всерьез, нередко подолгу вглядывался в этих лошадей, прикрыв один глаз, чтобы лучше сосредоточиться и правильно оценить все их стати.

Однажды он сказал мне:

— Они арабской породы, это верно, но нечистых кровей. У кобылы нагнет. Взгляни-ка на ее бабки.

Мне не нравилось, что он находит у этих лошадей недостатки. Для меня они были чем-то очень важным. Каждое утро я вместе с ними уносился от нестерпимой боли.

Страх, обуревавший их и меня, сливался воедино и тесно связывал нас, как товарищей по несчастью.

Мать моя упиралась обеими руками в мои приподнятые колени и, крепко зажмурив глаза, чтобы удержать слезы, всей тяжестью наваливалась на мои ноги, пригибая их книзу, пока они, распрямившись, не ложились на стол. Когда ноги выпрямлялись под тяжестью ее тела, пальцы на них растопыривались и затем скрючивались наподобие птичьих когтей. А когда сухожилия начинали тянуться и вытягиваться, я громко кричал, широко

раскрыв глаза и уставившись на обезумевших от ужаса лошадей над камином. И в то время как мучительные судороги сводили мои пальцы, я кричал лошадям:

— О лошади, лошади, лошади... О лошади, лошади!..

Глава 3

Больница находилась в городке милях в двадцати от нашего дома. Отец отвез меня туда в крепко сколоченной двуколке, с длинными оглоблями, которой он пользовался, приучая лошадей к упряжи. Он очень гордился этим экипажем. Оглобли и колеса были сделаны из орехового дерева, а на задней стороне сиденья он нарисовал вставшую на дыбы лошадь. Нельзя сказать, чтобы изображение получилось очень удачным, и отец в свое оправдание приводил такое объяснение:

— Видите ли, лошадь еще не привыкла вставать на дыбы. Она делает это в первый раз и поэтому потеряла равновесие.

Отец запряг в двуколку одну из лошадей, которых он объезжал, и еще одну привязал к оглобле. Он держал коренника за голову, пока мать, посадив меня на дно двуколки, забиралась в нее сама. Усевшись, мать подняла меня и устроила рядом с собой. Отец продолжал что-то говорить лошади и гладил ее по потной шее:

— Стой, милая, стой смирно, тебе говорю.

Выходки необъезженных лошадей не пугали мою мать. Упрямые кони вставали на дыбы, падали на колени или рвались в сторону, задыхаясь от усилий сбросить упряжь, а мать смотрела на это с самым невозмутимым видом. Она сидела на высоком сиденье, приспособившись к любому толчку; крепко держась одной рукой за никелированный поручень, она слегка нагибалась вперед, когда лошади с силой пятились, и откидываясь на спинку сиденья, когда они дергали двуколку вперед, но ни на минуту не отпускала меня.

— Нам хорошо, — говорила она, обвив меня рукой.

Отец ослабил удила и приблизился к подножке, пропуская вожжи сквозь кулак; он не сводил глаз с головы пристяжной. Поставив ногу на круглую железную подножку и схватившись за край сиденья, он помедлил минуту, продолжая кричать беспокойным, возбужденным лошадям: «Смирно, смирно!» — и неожиданным рывком вскочил на козлы в то время, как лошади попятнулись. Он ослабил вожжи, и лошади понеслись. Двухлетка, привязанная к оглобле недоуздом, рвалась в сторону, вытягивая

шею; в этой неуклюжей позе она скакала рядом с коренником. Мы промчались через ворота, разбрасывая камни, под скрежет буксовавших, окованных железом колес.

Отец хвастал, что ни разу во время своих стремительных выездов он не задел столбов ворот, хотя щербины, пересекавшие их на уровне ступиц, говорили об ином. Мать, перегнувшись через крыло, чтобы увидеть, какое расстояние отделяет ступицу колеса от столба, каждый раз повторяла одни и те же слова:

— В один прекрасный день ты обязательно заденешь столб.

Когда мы свернули с грязной дороги, которая вела к воротам нашего дома, на вымощенное щебнем шоссе, отец придержал лошадей.

— Потише, потише! — крикнул он и добавил, обращаясь к моей матери: Эта поездка поубавит им прыти. Серый — от Аббата, это сразу видно: его жеребята всегда с норовом.

Теплые лучи солнца и стук колес действовали на меня усыпляюще; заросли, выгоны, ручьи проносились мимо нас, окутываемые на мгновение пеленой пыли, поднятой копытами наших лошадей, но я ничего не видел. Я лежал, прислонив голову к плечу матери, и спал в таком положении, пока через три часа она не разбудила меня.

Под колесами нашего экипажа хрустел гравий больничного двора; я сел и стал смотреть на белое здание с узкими окнами и странным запахом.

Через открытую дверь я видел темный паркет и тумбочку, на которой стояла ваза с цветами. Но все здание было окутано странной тишиной, и она испугала меня.

В комнате, куда меня внес отец, у стены стоял мягкий диван, а в углу был письменный стол. За ним сидела сестра, которая начала задавать отцу множество вопросов. Его ответы она записывала в книгу, а он следил за ней, словно за норовистой лошастью, которая злобно прижимает уши.

Когда она вышла из комнаты, захватив с собой книгу, отец сказал матери:

— Стоит мне только попасть в такое местечко, и меня так и подмывает послать их всех к черту. Тут задают слишком много вопросов, обнажают у человека все чувства, словно обдирают корову. И уже сам веришь, что зря их беспокоишь и что вообще их обманываешь. Не знаю даже, как объяснить...

Через несколько минут сестра вернулась вместе с санитаром, который унес меня после того, как мать обещала зайти ко мне, когда я буду уже в постели.

Санитар был в коричневом халате. У него было красное, морщинистое

лицо, и он смотрел на меня так, словно я не мальчик, а какая-то трудная задача, которую надо решить.

Он отнес меня в ванную комнату и опустил в ванну с теплой водой. Затем он сел на стул и принялся скручивать папиросу. Закурив, он спросил:

— Когда ты в последний раз мылся?

— Сегодня утром, — ответил я.

— Ну хорошо, тогда просто лежи в ванне. Хватит и этого. Потом я сидел в прохладной чистой постели и упрашивал мать не уходить. Матрас на кровати был жестким и твердым, и мне никак не удавалось так натянуть на себя одеяло, чтобы образовались складки. Под этим одеялом не будет ни теплых пещер, ни каналов и тропинок, извивающихся вдоль изгибов стеганого одеяла, по которым можно перегонять камешки. Рядом не было привычных стен, я не слышал собачьего лая, похрустывания соломы на зубах лошадей. Все это было родное, привычное, связанное с домом, и в эту минуту я испытывал отчаянную тоску. Отец уже простился со мной, но мать еще медлила. Вдруг она быстро поцеловала меня и вышла, и то, что она это сделала, показалось мне невероятным. Я не мог даже подумать, что она ушла по своей воле, — мне казалось, что ее заставило уйти что-то неожиданное и страшное, против чего она была бессильна. Я не окликнул ее, не просил ее вернуться, хотя мне страстно хотелось этого. Я смотрел, как дна уходит, и у меня не было сил задержать ее.

Вскоре после того как мать ушла, человек, лежавший на соседней кровати и несколько минут молча рассматривавший меня, спросил:

— О чем ты плачешь?

— Я хочу домой.

— Мы все хотим этого, — произнес он и, уставившись в потолок, со вздохом повторил: — Да, мы все этого хотим.

В палате, где мы лежали, пол был паркетный, желто-коричневый между кроватями и в середине комнаты, но темный и блестящий под кроватями, где по натертым воском половицам не ступали ноги сиделок.

Белые железные кровати стояли в два ряда вдоль стен одна против другой. Ножки их были на колесиках. Вокруг каждой ножки пол был исчерчен и исцарапан — эти следы оставляли колесики, когда сиделки передвигали кровать.

Одеяла и простыни на кроватях были туго натянуты и подоткнуты под матрас, образуя своего рода мешок.

В палате было четырнадцать человек, я был среди них единственным ребенком. После ухода матери некоторые больные заговорили со мной, стараясь меня утешить.

— Не бойся, все будет хорошо. Мы приглядим за тобой, — сказал один из них.

Они стали расспрашивать меня, чем я болен, и когда я сказал им, все они принялись рассуждать о детском параличе, а один из больных сказал, что это просто убийство.

— Это просто смертоубийство, — повторил он, — самое настоящее убийство.

Я сразу почувствовал себя важной персоной, и человек, сказавший это, мне очень понравился. Я не считал свою болезнь серьезной и видел в ней своего рода временное неудобство; в последующие дни каждое обострение болей вызывало у меня злость, которая быстро переходила в отчаяние по мере того, как боли усиливались, но стоило им пройти, и я о них забывал. Долго оставаться в подавленном состоянии я не мог: слишком силен был во мне интерес ко всему, что меня окружало.

Я всегда испытывал приятное удивление, видя, какое впечатление производит моя болезнь на людей, которые с печальными лицами останавливались у моей постели, считая мое заболевание чудовищным ударом судьбы. Это доказывало, что я действительно важная особа, и радовало меня.

— Ты храбрый мальчик, — говорили они и, наклонившись, целовали меня, а затем отходили с грустной миной.

Я часто задумывался над этой храбростью, которую приписывали мне окружающие. Мне казалось, что назвать человека храбрым — все равно что наградить его медалью. И когда посетители называли меня храбрым мальчиком, я всегда старался придать своему лицу серьезное выражение, потому что моя обычная веселая улыбка не вязалась с той лестной характеристикой, которой меня удостаивали.

Но я все время боялся, что меня разоблачат, и дань уважения, воздаваемая моей храбрости, начинала меня по-настоящему смущать, тем более что я хорошо знал, насколько она незаслуженна. Ведь я пугался даже шороха мыши в моей комнате под полом, ведь я из-за темноты боялся ночью подойти к бачку напиться воды. Иногда я задумывался: что сказали бы люди, если бы они узнали об этом?

Но люди настойчиво твердили, что я храбрец, и я принимал эту похвалу с тайной гордостью, хотя и испытывал при этом чувство какой-то вины.

Прошло несколько дней; я сроднился с палатой и моими соседями и уже чувствовал свое превосходство над новичками, которые нерешительно входили в палату, смущенные устремленными на них взглядами,

охваченные тоской по дому, по привычной постели.

Больные разговаривали со мной иногда покровительственно, как обычно говорят взрослые с детьми, иногда шутливо, желая позабавиться и видя во мне мишень для своих острот, порою же обращались ко мне просто оттого, что иссякали другие темы для разговора. Я верил всему, что они говорили, и это их забавляло. Они взирали на меня с высоты своего многолетнего опыта и, так как я был простодушен, считали, что я не понимаю, когда речь идет обо мне. Они говорили про меня так, словно я был глух и не мог их услышать.

— Он верит всему, что ему говорят, — рассказывал новичку парень лежавший напротив. — Послушайте-ка сами. Эй, весельчак, — обратился он ко мне, — в колодце у вашего поселка живет ведьма, правда?

— Да, — ответил я.

— Видите, — продолжал тот. — Смешной малыш. Говорят, он никогда не будет ходить.

Я решил, что он дурак. Я не мог понять, почему они вообразили, что я никогда не буду ходить. Я-то знал, что ждет меня впереди. Я буду объезжать диких коней и кричать «ого-го!» и размахивать шляпой, а еще я напишу книгу вроде «Кораллового острова».

Мне нравился второй сосед. Вскоре после того, как я очутился в палате, он сказал:

— Давай дружить. Хочешь, чтобы мы были товарищами?

— Идет, — ответил я.

В одной из моих первых книжек была цветная картина, благодаря которой у меня создалось впечатление, что товарищи должны стоять рядом и держаться за руки. Я сообщил ему это, но он сказал, что это вовсе не обязательно.

Каждое утро он приподнимался на локте и, отбивая такт рукой, внушительно говорил:

— Помни всегда, что самые лучшие в мире ветряные мельницы — это мельницы братьев, Макдональд.

Я был доволен, что узнал, какая фирма делает лучшие в мире мельницы. Это заявление так прочно запечатлелось в моей памяти, что и много лет спустя оно определяло мое отношение к ветряным мельницам.

— А что, их делает сам мистер Макдональд с братом? — как-то спросил я.

— Да, — ответил он. — Старший Макдональд — это я, Ангус. — Он неожиданно откинулся на подушку и раздраженно произнес: — Один бог знает, как они справятся там без меня с заказами и всем прочим. Всюду

нужен глаз да глаз. — Тут он обратился к одному из больных; — А что пишут сегодня в газетах о погоде? Будет засуха или нет?

— Газета еще не пришла, — ответил тот. Ангус был самым рослым и широкоплечим из всех обитателей нашей палаты. У него бывали приступы боли и тогда он громко вздыхал, или ругался, или испускал тихие стоны, которые меня пугали:

Утром после беспокойной ночи, он обычно говорил, ни к кому в отдельности не обращаясь:

— Ну и намучился же я за ночь.

у него было большое, чисто выбритое лицо с глубокими складками от ноздрей до уголков рта. Кожа на его ляпе была гладкая, как клеенка. У него был подвижный, чуткий рот, который легко расплывался в улыбке, когда Ангус не чувствовал боля.

Он часто, повернув голову на подушке, подолгу молча смотрел на меня.

— Почему ты так долго молишься? — как-то спросил он меня и в ответ на мой изумленный взгляд добавил: — Я видел, как шевелятся твои губы.

— У меня ведь очень много просьб, — объяснил я.

— Каких просьб? — спросил Ангус.

Я смутился, но он сказал:

— Что же ты запнулся? Рассказывай, ведь мы же товарищи.

Я повторил ему мою молитву, а он слушал, устремив взгляд в потолок и скрестив руки на груди.

Когда я кончил, он повернулся и посмотрел на меня:

— Ты ничего не упустил. Задал ему работенку. Выслушав все это, господь бог составит о тебе неплохое мнение.

Эти слова обрадовали меня, и я решил попросить бога, чтобы он помог и Ангусу.

Моя молитва перед сном оказалась такой длинной потому, что у меня к богу было множество просьб, и число их все возрастало. С каждым днем у меня появлялись все новые нужды, а так как я опускал ту или иную просьбу лишь после того, как она удовлетворялась, а число услышанных молений было ничтожно, то молитва стала такой громоздкой, что я уже со страхом приступал к ее повторению. Мать не позволяла мне пропускать занятия в воскресной школе и научила меня моей первой молитве — она была в стихах, начиналась словами «кроткий, Добрый Иисус» и кончалась просьбой благословить многих людей, в том числе моего отца, хотя я всегда был убежден, что он-то в благословениях не нуждается. Однажды я

увидел выброшенную кем-то вполне хорошую, на мой взгляд, кошку и вдруг испугался ее застывшей неподвижности; мне объяснили, что она мертвая. И вот теперь по вечерам в кровати мне казалось, что я вижу мать и отца, лежащих так же неподвижно, с оскаленными зубами, как эта кошка... И я в ужасе молился о том, чтобы они не умерли раньше меня. Это была самая серьезная моя молитва, которую нельзя было пропускать.

После некоторого размышления я решил включить в молитву и мою собаку Мэг и просить о том, чтобы бог сохранил ей жизнь, пока я не стану взрослым мужчиной и не смогу перенести ее утрату. Побаиваясь, что я прошу у бога слишком многого, я добавил, что, как и в случае с Мэг, я согласен удовлетвориться, если мои родители доживут до тех пор, пока мне исполнится, скажем, тридцать лет. Мне казалось, что в таком почтенном возрасте слезы уже пройденный этап. Мужчины никогда не плачут.

Я молился о том, чтобы поправиться, и неизменно добавлял, что если бог не возражает, то я хотел бы выздороветь не позже рождества, до которого оставалось два месяца.

Надо было помолиться и о моих птицах и зверюшках, которые жили в клетках и загородках на заднем дворе, так как теперь, когда я не мог сам кормить их и менять им воду, всегда была опасность, что об этом позабудут. Я молился, чтобы об этом никогда не забывали. Моего попугая Пэта, сердитого старого какаду, надо было каждый вечер выпускать из клетки, чтобы он полетал среди деревьев. Иногда соседи жаловались на него. В дни стирки он садился на веревки с бельем и сдергивал прищепки. Рассерженные женщины, видя, что чистые простыни лежат в пыли, бросали в Пэта палками и камнями, и мне приходилось молиться, чтобы они не попали в него и не убили.

Молился я и о том, чтобы стать хорошим мальчиком.

Ангус, высказав свои замечания о моих молитвах, спросил меня:

— Как по-твоему, что за мальчик — господь бог? Какой он из себя?

Я всегда представлял себе бога в виде силача, одетого; в белую простыню, подобно арабу. Он восседал на стуле, упираясь локтями в колени, и посматривал на мир внизу. Глаза его быстро перебегали от одного человека к другому. В моем представлении бог не был добрым — он был только строгим. «Вот Иисус, — думал я, — он добрый, как мой отец, но только никогда не ругается». Однако то обстоятельство, что Иисус ездил обычно на осле и никогда не скакал верхом на лошади, вызывало у меня большое разочарование.

Однажды отец, сняв новые сапоги, которые он разношивал, переобулся в эластичные сапоги фирмы «Джилспай»; при этом он с чувством

воскликнул:

— Вот эти сапоги изготовлены на небе.

С тех пор я был уверен, что Иисус ходит в эластичных сапогах фирмы «Джилспай».

Когда я сообщил все это Ангусу, он заметил, что, возможно, у меня более верное представление о боге, чем у него.

— Моя мать, — сказал он, — всегда говорила по-гэльски. Бог мне казался сгорбленным стариком с белой бородой, окруженным толпой старух, которые вяжут и разговаривают по-гэльски. Мне казалось, что у бога на глазу повязка, а моя мать говаривала: «Это все мальчишки камнями швыряются». Я не представлял, чтобы бог что-нибудь делал, не посоветовавшись предварительно с моей матушкой.

— Она вас шлепала? — спросил я его.

— Нет, — ответил он задумчиво. — Нас, детишек, она никогда не била, но богу от нее сильно доставалось.

Один из больных, лежавших на кровати слева, что-то сказал ему.

— Не тревожьтесь, — ответил Ангус, — я не хочу поколебать его веру. Он сам до всего додумается, когда станет взрослым.

Хотя я верил в бога и часть вечера посвящал молитве, я все же считал себя существом, от него независимым. Ему нетрудно было меня обидеть, но тогда я бы никогда больше с ним не заговорил. Я боялся его потому, что он мог заставить меня гореть в адском огне. Об этом нам говорил учитель воскресной школы. Но еще больше, чем адского огня, я боялся стать подлизой.

Когда, охотясь за кроликами, Мэг повредила себе плечо, я почувствовал, что бог сильно подвел меня, и решил в будущем сам заботиться о благополучии Мэг, отказавшись от его услуг. В этот вечер я не молился.

Заговаривая о боге, отец всегда его критиковал, но мне его отношение к богу нравилось: оно означало, что я могу положиться на отца, если бог окажется не на высоте, — недаром отец перевязал плечо Мэг, Но все же меня беспокоил тон, каким он говорил о боге.

Однажды отец отвел кобылу к старику Дину, у которого был жеребец. Дин спросил, какой масти хотел бы он получить жеребенка.

— Я знаю способ, чтобы сделать любую масть, — хвастал Дин.

— А можешь ли ты сделать так, чтобы был жеребец или, скажем, кобыла? спросил отец.

— Не могу, — благочестиво ответил Дин, — это зависит только от бога.

Я прислушивался к их разговору, и то, как отец отнесся к этому заявлению Дина, убедило меня, что он не очень-то высоко ставит бога, когда дело касается лошадей. Но зато я проникся еще большей верой в отца. Я решил, что такие люди, как мой отец, сильнее бога.

Но больные были непохожи на здоровых. Боль лишала их чего-то, что я в людях очень ценил, но не мог определить. Некоторые из них по ночам взывали к богу, и мне это не нравилось. По моему мнению, они не должны были этого делать. Мне трудно было допустить мысль, что и взрослые могут испытывать страх. Я считал, что для взрослых не существует ни страха, ни боли, ни нерешительности.

На кровати справа от меня лежал грузный, неуклюжий человек, которому соломорезка раздробила кисть. Днем он бродил по палате, разговаривая с больными, выполнял их поручения, приносил им то, что они просили.

Он наклонялся над кроватью, расплываясь в слюнявой улыбке, и заискивающе спрашивал:

— Ну, как дела, в порядке? Не нужно ля тебе чего-нибудь?

Его манера держаться была мне неприятна — может; быть, потому, что он был добр и услужлив не из сострадания, а из страха. Ему грозила опасность потерять руку, — но ведь милосердие божие велико, и господь не оставит того, кто помогает больным. Мик, ирландец, лежавший наискосок от меня, всегда отказывался от его услуг, хотя и самым дружелюбным образом.

Как-то раз, когда тот отлучился из палаты, Мик сказал

— Он словно собака, приученная к поноске... Всякий когда он подходит ко мне, меня так и подмывает бросить палку, чтобы он принес ее обратно.

Этот больной никогда не лежал в постели спокойно, а вертелся с боку на бок, садился и снова ложился. Он то и дело взбивал свою подушку, поворачивал ее и так и этак и хмуро поглядывал на нее. Когда наступал вечер, он брал со своей тумбочки маленький молитвенник. Выражение его лица менялось, и он сразу переставал ворочаться. Из тайников души он извлекал приличествующую случаю серьезность и облекался в нее, как в платье.

Запястье своей искалеченной и забинтованной руки он обвил цепочкой, к которой было прикреплено миниатюрное распятие. Он напряженно и сосредоточенно по нескольку минут прижимал к губам металлический крестик.

Ему, по-видимому, казалось, что при чтении молитвенника он не

проявляет достаточной набожности; две глубокие складки залегали между его бровями, а он медленно шевелил губами, произнося слова молитвы.

Как-то вечером Мик, некоторое время наблюдавший за ним, пришел к заключению, что набожность этого человека лишь подчеркивает ее отсутствие у него, Мика.

— Что он о себе воображает? — сказал он, посмотрев на меня.

— Не знаю, — ответил я.

— Никто не может сказать, что я пренебрегаю религией, — пробормотал Мик, сосредоточенно рассматривая ноготь. Покусав его, он добавил: — Разве что изредка.

Он неожиданно улыбнулся:

— Вот возьми мою старуху мать. Лучшей женщины на свете не бывало можешь поверить, хотя говорю это я сам. Это так. Да и другие то же скажут. Спроси кого хочешь — в Борлике или хоть во всей округе. Там все ее знали. В ясное утро скажешь ей, бывало; «Бог хорош, а мамаша?» А она ответит: «Само собой, Мик, только и черт не плох». Теперь таких нет.

Мик был невысокий, подвижный человек. Он любил поговорить. У него была повреждена рука, и по утрам ему разрешалось вставать, чтобы сходить в ванную умыться. Вернувшись, он останавливался у своей кровати и, посмотрев на нее сверху вниз, закатывал рукава пижамы, словно собираясь вкапывать столб для забора, затем забирался под одеяло, подпирал подушками спину, клал руки перед собой на одеяло и с довольным выражением лица оглядывал палату, словно в предвкушении чего-то приятного.

— Он дожидается, чтобы его завели, — говорил о нем в такие минуты Ангус.

Иногда Мик, изумленно хмурясь, принимался разглядывать свою руку и повторял при этом:

— Будь я проклят, если понимаю, как это случилось. Только что рука была цела и невредима — я бросил мешок с пшеницей на подводу, и вдруг как она хрястнет. Вот так всегда: здоров, здоров, а потом сразу и сляжешь.

— Тебе еще повезло, — вставлял свое замечание Ангус. — Еще два-три дня, и будешь снова сидеть в пивной. А вот насчет Фрэнка ты слышал?

— Нет.

— Так вот, он умер.

— Не может быть! Подумать только! — воскликнул Мик. — Я же и говорю: сейчас ты бегаешь молодцом, а через минуту лежишь мертвецом. Когда он выписывался во вторник, он был здоров. Как же это?

— Разрыв сердца.

— Это тоже скверная штука — никогда заранее не угадаешь, — произнес Мик.

Он угрюмо замолчал и просидел так до самого завтрака; но когда сиделка с подносом подошла к нему, он повеселел и обратился к ней с вопросом:

— Скажи, пожалуйста, когда ты меня полюбишь?

Сиделки в белых накрахмаленных передниках, розовых кофточках и ботинках на низких каблуках сновали мимо моей кровати; иногда они улыбались мне или оста нашивались, чтобы поправить одеяло. Их тщательно вымытые руки пахли карболкой. Я был единственным ребенком в их палате, и они относились ко мне с материнской нежностью.

Под влиянием отца я иногда принимался отыскивать в людях сходство с лошадьми, и когда я смотрел на носившихся взад и вперед сиделок, они казались мне похожими на пони.

В тот день, когда меня привезли в больницу, отец, поглядев на сиделок (ему нравились женщины), замету матери, что среди них есть несколько хороших лошади, но они плохо подкованы.

Когда с улицы доносился конский топот, я вспоминал отца, и мне казалось, что я вижу его верхом на норовистой лошади и он обязательно улыбался. Я получил от него письмо, в котором он писал: «У нас стоит засуха, и мне приходится подкармливать Кэтти. У ручья еще сохранилось немного травы, но я хочу, чтобы Кэтти к твоему приезду была в хорошей форме».

Прочитав письмо, я сказал Ангусу Макдональду:

— У меня есть пони по кличке Кэтти. — И добавил, повторяя выражение отца: — У нее шея длинновата, но это честная лошадь.

— Верно, что твой старик объезжает лошадей? — спросил Ангус.

— Да, — сказал я, — он, наверно, самый лучший наездник в Туралле.

— Одевается-то он франтом, — пробормотал Макдональд. — Когда я его увидел, мне показалось, что он из циркачей.

Я лежал, размышляя над его словами, и не мог понять, похвала это или нет. Мне нравилась одежда отца. По ней сразу было видно, что он человек ловкий и аккуратный. Когда я помогал ему снимать сбрую, на моих руках и одежде оставались следы смазки, но отец ни разу не запачкался. Он гордился своей одеждой. Ему нравилось, что на его белых брюках из молескина не было ни единого пятнышка; его сапоги всегда блестели.

Он любил хорошие сапоги и считал себя знатоком по части кожи. Он носил свои сапоги, эластичные и гибкие, с гордостью. Каждый вечер он садился у кухонного очага, снимал сапоги и тщательно осматривал их,

сначала один, а затем другой: он мял руками подошву, разглаживал верх и так и этак, чтобы проверить, нет ли признаков того, что они начали изнашиваться.

— На левом сапоге верх сохранился лучше, чем на правом, — как-то сказал он мне. — Это очень странно. Правый выйдет из строя раньше левого.

Часто он рассказывал о профессоре Фентоне, который содержал цирк в Квинсленде и щеголял нафабранными усами. Профессор носил белую шелковую рубашку, подпоясанную красным кушаком, и умел делать бичом двойную сиднейскую петлю. Отец тоже умел хлопать бичом, но ему было далеко до профессора Фентона.

Пока я раздумывал обо всем этом, в палату вошел отец. Он шел быстрым коротким шагом и улыбался. Одной — рукой он придерживал на груди что-то спрятанное под его белой рубашкой.

Подойдя к моей кровати, отец нагнулся ко мне:

— Ну, как ты, сынок?

Я был в неплохом настроении, но от отца пахло домом, и мне вдруг захотелось плакать. До прихода отца и наш дом, и старая ограда из жердей, на, которую я взбирался, чтобы посмотреть, как он объезжает лошадей, и куры, и собаки, и кошки — все это было вытеснено, заслонено новыми впечатлениями, но теперь они вновь стали чем-то близким, реальным, и я понял, как мне их недостает. И как мне недостает матери.

Я не заплакал, но отец, посмотрев на меня, крепко сжал губы. Он сунул руку за пазуху, где было что-то припрятано, и вдруг вытащил оттуда барахтающееся существо светло-коричневого цвета. Он приподнял одеяло и положил мохнатый комочек ко мне на грудь.

— Держи его, обними покрепче, — сказал он с какой-то злобой. — Прижми его к себе. Это один из щенков Мэг. Лучший из всех, и мы назвали его Аланом...

Я обхватил руками пушистую живую теплоту, прижал ее к себе — и в мгновение ока вся моя тоска исчезла. Бесконечное счастье наполнило меня. Я посмотрел в глаза отцу, и оно передалось ему: я понял это потому, что он улыбнулся мне.

Щенок заерзал, и я заглянул в норку, которую, приподняв руку, сделал из одеяла: он лежал там и смотрел на меня лучистыми глазенками, дружелюбно виляя хвостиком. Радость жизни, пульсировавшая в нем, передалась и мне, освежая и укрепляя меня, и я уже не испытывал слабости.

Щенок приятно давил на меня своей тяжестью, и от него пахло домом.

Мне хотелось, чтобы он был со мной всегда.

Макдональд, не спускавший с нас взгляда, подозвал Мика, который проходил по палате с полотенцем.

— Ступай, Мик, займи сиделок разговорами. — А отцу он пояснил: — Сами знаете: собака в больнице... Они ведь не понимают... Вот в чем дело.

— Да, это так, — сказал отец, — но хватит и пяти минут. Ведь это для него все равно что глоток воды в жару...

Глава 4

Я уважал взрослых. Я думал, что они способны преодолеть любую трудность и обладают большим мужеством. Они могли починить любую вещь, они все знали, они были сильными, на них можно было положиться. Я с нетерпением ждал того времени, когда вырасту и стану таким, как они, — настоящим мужчиной.

Мой отец казался мне в этом смысле образцом. В тех случаях, когда он, но моему мнению, вел себя так, как настоящему мужчине вести себя не положено, я был уверен, что он делает это сознательно и лишь с единственной целью — позабавить окружающих. Я был уверен, что он всегда сохраняет власть над собой.

Этим объясняется и то, почему я не боялся пьяных.

Когда отец напивался (что случалось редко), я был уверен, что, хотя он предстает перед всеми в ином виде, чем обычно, на самом деле он по-прежнему остается трезвым и взрослым и лишь скрывает это от других.

Я с восхищением смотрел на него, когда, вернувшись домой после затянувшегося посещения трактира, он обнимал мать и с возгласом: «А ну-ка!» — начинал кружить ее по кухне в диком танце, сопровождая его оглушительными выкриками. Для меня пьяный был лишь веселым, говорливым, хохочущим человеком, который пошатывался нарочно, для забавы.

Однажды вечером две сиделки ввели в пашу палату пьяного, доставленного в больницу полицией. Я смотрел на него с удивлением и испугом, потому что он был во власти какой-то силы, с которой не мог совладать. Его била дрожь, из раскрытого рта вяло свисал язык.

Когда его проводили через открытую дверь, он посмотрел на потолок и закричал:

— Эй, ты, что ты там делаешь? А ну, слезай! Сейчас я с тобой разделаюсь!

— Там ничего нет, — сказала одна из сиделок. — Идите же!

Он шел между ними, как арестованный, то и дело сворачивая к стене, словно слепая лошадь. Наконец они довели его до ванны,

После ванны его уложили на кровать рядом с постелью, Мика и дали ему снотворное. Глотая лекарство, он издавал какие-то странные звуки и кричал:

— К черту! — И, словно жалуясь кому-то, добавил: — Это яд, страшно ядовитая штука.

— Теперь лежите спокойно, — приказала сестра. — Никто вас здесь не тронет. Скоро вы уснете.

— Фараоны хотели свалить все на меня, — бормотал он. — Мой приятель напал на меня первым... Да, да, так оно и было... А где я, черт возьми? Вы сестра, правда? Да, это так... Здравствуйте... А мы уже месяц гуляем... Я прилягу... Сейчас буду лежать спокойно.

Сестра, положив руку ему на плечо, мягким движением заставила его опуститься на подушку и немного погодя вышла из палаты. Когда дверь за ней закрылась, он сперва лежал спокойно в воцарившемся полумраке, затем вдруг присел на кровати и стал рассматривать потолок. Он оглядел стены, осмотрел пол, ощупал железную раму кровати, словно исследуя прочность капкана. Тут он заметил Мика, который созерцал его с высоты своих подушек.

— Здорово, — сказал он.

— Здорово, — отозвался Мик. — Допился до чертиков?

— Было дело, — коротко ответил пьяный. — А какая такса в этом заведении?

— Бесплатно, — сказал Мик. — Тут тебе лафа!

Пьяница что-то проворчал. У него были толстые, дряблые щеки, заросшие серой щетиной; воспаленные глаза покраснели, веки распухли, словно от слез. Нос у него был большой и мясистый, весь усеянный крупными темными порами, в которых, казалось, прятались корни волос,

— Я тебя где-то встречал, — сказал он Мику. — Не бывал в Милдьюре? А может, в Оверфлоу, Пайэнгл, Берке?..

— Нет, — ответил Мик и полез в свою тумбочку за папиросой. — Никогда там не бывал.

— Ну, тогда я тебя не знаю.

Он сидел, уставившись перед собой неподвижным взглядом. Руки его произвольно перебирали одеяло. Вдруг он в испуге зашептал:

— Что там такое? Взгляни: возле стены. Оно движется.

— Это стул, — сказал Мик, посмотрев туда.

Пьяница быстро лег и натянул одеяло на голову. Когда я увидел, что он делает, я тоже спрятал голову под одеяло.

— Эй! — окликнул меня Макдональд, но я не пошевелился. — Эй, Алан!

Я выглянул из-под одеяла.

— Не бойся, — успокоил он меня. — Он закутил, и у него белая горячка.

— Что это такое? — спросил я дрогнувшим голосом.

— Выпил лишнее, вот ему и мерещится всякая чертовщина. Завтра он придет в себя.

Но я так и не смог уснуть, и, когда ночная сиделка приняла дежурство, я сел и стал смотреть, как она обходит палату.

— Подойди-ка сюда, сестричка, — позвал ее пьяница — Я хочу тебе кое-что показать. Захвати свечу.

Она подошла к его кровати, высоко подняв фонарь, чтобы лучше видеть. Он отвернул одеяло и крепко прижал палец к своей обнаженной ноге.

— Смотри! Я его поймал. Смотри.

Он приподнял палец, сиделка наклонилась к нему, и фонарь ярко осветил ее лицо. Она раздраженно махнула рукой.

— Это бородавка, — сказала она. — Спице.

— Нет, это не бородавка! Смотри, она движется.

— Спице, — повторила сиделка и ласково похлопала его по плечу.

Она укрыла его одеялом. Вид у нее был такой спокойный и хладнокровный, что все мои тревоги улеглись. Скоро я уже спал.

На следующее утро, еще не совсем очнувшись ото сна, я стал думать о яйцах, лежавших в ящике моего столика. Я пересчитал их лишь вчера, но сейчас в полусне никак не мог вспомнить, сколько их было.

Больничный завтрак мы съедали без всякого удовольствия.

— Ешь, только чтобы не умереть с голоду. Иначе озолоти меня, чтобы я прикоснулся к такой еде, — как-то объяснил Ангус новенькому.

Этот завтрак состоял из тарелки каши и двух тоненьких ломтиков хлеба, слегка намазанных маслом.

Те из больных, кто мог себе позволить покупать яйца, и те, у кого были друзья или родственники, имевшие своих кур, хранили в тумбочке запас яиц. Они дорожили ими, как сокровищем, и огорчались, когда оставалось одно или два яйца.

— Запас-то мой на исходе, — говорили они, с хмурым видом заглядывая в тумбочку.

Каждое утро палату обходила сиделка с кастрюлей в руках.

— Давайте яйца; кому сварить яйца на завтрак?

Услышав этот возглас, больные поспешно приподнимались и тянулись к тумбочкам: одни — морщась от боли, медленно, другие — мучительно преодолевая слабость. Приоткрыв ящик, они засовывали руку в пакет из оберточной бумаги или в картонную коробку, где хранились яйца. Прежде чем отдать их сиделке, они писали на каждом свою фамилию, а потом сидели нахохлившись, перебирая их в тусклом утреннем свете, словно печальные птицы в больших гнездах.

Надписывать яйцо было необходимо из-за споров, которые нередко возникали после варки, когда, например, владелец запаса больших с коричневым оттенком яиц вдруг получал болтун. Некоторые больные гордились свежестью доставленных им яиц и подозрительно нюхали их после варки, утверждая, что им подсунули чужое, лежалое яйцо. Те больные, кому нечего было положить в кастрюлю, смотрели на эту утреннюю церемонию с грустью, к которой нередко примешивалось раздражение. Потом они откидывались на подушки, охая и жалуясь на дурно проверенную ночь. Многие делились емкими запасами с этими несчастливцами.

— Вот три яйца, — говорил сиделке Ангус. — Одно для Тома, одно для Мика, одно для меня. Я их все надписал, и скажи повару, чтобы он не варил их вкрутую.

Яйца всегда возвращались крутыми. Рюмочек для них не полагалось, и горячее яйцо приходилось держать в руке.

Мать присылала мне каждую неделю десяток яиц, и мне доставляло большую радость, если я мог крикнуть соседу по палате: «Том, я положил яйцо и для тебя!» Мне нравилась улыбка, которая при этих словах появлялась на его лице. Мой десяток быстро исчезал, и тогда Ангус брал меня на свое попечение.

— Ты слишком щедро швыряешься яйцами, — говорил он в таких случаях. Побереги хоть несколько штук для себя. Мои запасы кончаются.

Я старался сообразить, кому из больных следует дать яйцо, и вдруг вспомнил о новичке — сейчас при свете дня он уже не казался таким страшным. Я проворно сел и посмотрел на его кровать, но он лежал, укрывшись одеялом с головой.

— Что это он делает? — спросил я Ангуса.

— Ему все еще мерещится бог весть что, — ответил Макдональд, разворачивая маленький кусочек масла, который он достал из ящика. — Ночью он чуть совсем не рехнулся. Раз даже соскочил с кровати. Мик

говорит, что сейчас он слаб, как котенок.

Мик сидел и зевал, сопровождая каждый зевок болезненным стоном.

Почесывая грудь, он поддакнул:

— Куда уж слабее... И не удивительно... Из-за этого типа я полночи глаз не сомкнул. А ты как спал, Мак?

— Плохо. Опять боли мучили. И никак не разберу, что это такое. Они не от сердца, потому что болит справа. Я говорил врачу, а он мне так ничего и не объяснил. Дождешься от них!

— Факт, — подтвердил Мик. — Я всегда говорил, что только тот разумеет, кто сам болеет. А я ночью надавил на свою руку, и мне бог знает чего стоило не закричать. А этот малый, — он показал на новенького, все еще лежавшего закутавшись в одеяло, — думает, что он спятил. Неплохо, видать, проводил время, пока дошел до эдакого состояния. Как бы там ни было, я готов променять мою руку на его мозги.

Я любил слушать эти утренние разговоры, но часто мне трудно было понять, о чем идет речь. Мне всегда хотелось разузнать обо всем как можно подробней.

— А зачем вы надавили на свою руку? — спросил я.

— Зачем? — воскликнул в изумлении Мик. — То есть как «зачем»? Я-то откуда знаю? Я думал, что это моя здоровая рука. Пресмешной ты паренек, как я погляжу.

Человек, лежавший на соседней кровати, застонал.

Обращаясь к этой бесформенной куче постельного белья, Мик сказал:

— Да, брат, плохи твои дела. Завтра на твоей могилке вырастут маргаритки. Хочешь не хочешь, всему хорошему на свете приходит конец.

— Не говори с ним так! — с негодованием воскликнул Ангус. — Ты его черт знает как напугаешь. Дать тебе яйцо сегодня?

— Дай пару, а я тебе верну на той неделе, когда моя старуха придет навестить меня.

— А что, если она не принесет тебе ничего?

— Все может случиться, — ответил Мик уныло. — Смешно, но никогда человеку не удастся найти жену, которая была бы так же хороша, как его мать. Сколько раз я это видел. Женщины сейчас все на один манер. Все они портятся на глазах, это каждый скажет. Бывало, зайдешь в материнскую кладовую — черт, чего там только не было! Мышь и та не могла бы протиснуться между банками варенья и маринадов, и бутылками томата, и имбирного пива. И все это она делала своими руками. А теперь — попроси любую женщину сварить тебе банку варенья... — Он презрительно махнул рукой и сказал уже совсем другим тоном: — Она

принесет яйца. Дай парочку, я сегодня чертовски голоден.

Неожиданно пьяница приподнялся и, словно собираясь спрыгнуть с кровати, отбросил одеяло.

— Эй, укройся сейчас же! — приказал Мик. — Достаточно ты ночью накуролесил. Хватит. Если сам не перестанешь, тебя привяжут.

Тот поправил одеяло и схватил себя за волосы, но скоро отпустил их и сказал Мику:

— У меня все еще стоит во рту вкус этого лекарства, прямо с души воротит.

— Хотите яичко? — крикнул я ему срывающимся от волнения голосом.

— Малыш спрашивает, не съешь ли ты яйцо на завтрак, — пояснил Мик.

— Да, — сказал он, снова вцепившись в волосы. — Съем, непременно съем. Мне надо восстановить силы.

— Он съест, — сказал Мик, — давай яйцо.

Я вдруг проникся симпатией к новому соседу и решил попросить мать принести мне столько яиц, чтобы и на него хватило.

После завтрака сиделки, торопливо переходя от одной кровати к другой, расстилали стеганые одеяла, убранные накануне. Они наклонялись над каждой кроватью, и больные смотрели на них со своих подушек. Но сиделки глядели только на свои хлопчущие руки и не замечали больных. Они взбивали подушки, подтыкали простыни, разглаживали все складки и морщинки, готовя палату к обходу старшей сестры.

Если сиделки не очень торопились, они не прочь были перекинуться с нами шуткой. Среди них были милые и славные женщины, которые любили посудачить с больными, называли старшую сестру «старой наседкой» и предупреждали шепотом о появлении сестер.

Любимицей Ангуса была сиделка Конрад — молоденькая толстушка, которая охотно смеялась, разговаривая с больными. Ангус, если кто-нибудь приносил ему апельсины, всегда откладывал один для нее.

— Вот славная девчушка, — сказал он как-то, когда она, проходя мимо, улыбнулась ему. — Клянусь богом, я сейчас скажу ей, чтобы она пошла посмотреть семейство Бланш.

В то время в город должна была прибыть на ежегодные гастроли странствующая труппа — «Мастера музыки и развлечений», и больные оживленно обсуждали содержание заманчивых афиш, предвещавших ее приезд.

— Об этом семействе Бланш, — заявил Мик, — могу сказать одно: за

свои деньги не поскучаете. Есть там один паренек... Он выступал здесь в прошлом году, и скажу я вам, другого такого поискать. Мальчик этот играл на пивных бутылках «На ней веночек был из роз», да так, черт возьми, что слезы на глаза навертывались. Маленький такой паренек, из себя совсем невидный. Попадется такой в пивной, пройдешь мимо и не заметишь. Эх, жаль, что я этого не увижу.

Когда на следующее утро после представления сиделка Конрад вбежала в освещенную дневным солнцем палату, ее тут же окликнул Ангус, жаждавший поскорее услышать ее впечатления.

— Ну, как, вам понравилось? — крикнул он ей.

— Ох, и здорово же было! — сказала она. — Мы сидели во втором ряду.

Ее пухлые щеки блестели после утренней ванны. Она на мгновение умолкла, заглянула в книгу записей, лежавшую на конторке у двери, и, подбежав к Ангусу, начала опрашивать его постель, продолжая свой рассказ.

— Это было чудесно! — говорила она с восторгом. — Зал был битком набит. У дверей проверял билеты человек в черной фуражке с красным околышем.

— Это, наверно, сам старик Бланш, — подал голос Мик с другого конца палаты, — он всегда там, где денежки.

— Он вовсе не старый! — с негодованием воскликнула сиделка Конрад.

— Ну, так, значит, это был его сын, — заметил Мик. — Все одно.

— Да рассказывайте же, — сказал Макдональд.

— А маленький паренек играл «На ней веночек был из роз»? — не унимался Мик.

— Паренька этого я видела, — с нетерпением ответила сиделка Конрад. Но только он играл «Родина, милая родина».

— А выступали какие-нибудь хорошие певцы? — спросил Ангус. — Пели шотландские песни?

— Нет, этих песен не пели. Выступал один мужчина, — помрешь со смеху. Он пел «Мой папаша носил сапоги на гвоздях». И еще выступал один швейцарец, он и одет был по-швейцарски, и пел на тирольский манер.

— А как это поют на тирольской манер? — спросил я.

Я наклонился над краем кровати, стараясь оказаться как можно ближе к сиделке Конрад, чтобы не упустить ни одного ее слова. Для меня этот концерт был не менее волнующим событием, чем цирк. Увидеть хотя бы человека в фуражке с красным околышем — как это было бы чудесно! Сиделка Конрад казалась мне теперь необычайно интересным человеком,

словно после того, как она побывала на концерте, у нее появились новые качества.

— Петь на тирольский лад — значит петь на очень высокой ноте, объяснила сиделка Конрад, повернувшись ко мне, и тут же снова обратилась к Ангусу. — Я знала одного молодого человека в Бендиге, он был высокого роста и вообще... — Тут она засмеялась и поправила выбившуюся из-под шапочки прядку волос. — Так вот, этот молодой человек — хотите верьте, хотите нет пел на тирольский лад не хуже, чем этот швейцарец. Знаете, мистер Макдональд, мы с ним дружили, и я могла слушать его песни всю ночь напролет. Сказать по правде, я совсем не умею петь. Но я люблю напевать для своего удовольствия, и хоть это я сама говорю, в чем, в чем, а в музыке я разбираюсь. Я семь лет училась и должна была чему-нибудь научиться. И вчерашний концерт мне очень понравился, потому что я знаю толк в музыке. Но этому швейцарцу далеко до Берта, что бы вы мне ни говорили,

— Да, — решительно сказал Макдональд, — это так.

Казалось, он не знал, что ему еще добавить. Мне хотелось, чтобы он продолжал ее расспрашивать, но она отвернулась от него и принялась поправлять мою постель. Когда она стала подтыкать одеяло под матрас, она наклонилась надо мной и ее лицо приблизилось к моему.

— Ты мой мальчик, правда? — сказала она, заглядывая мне в глаза и улыбаясь.

— Да, — ответил я отрывисто, не в силах отвести от нее взгляд, и вдруг почувствовал, что я ее люблю. Совсем смутившись, я не мог больше сказать ни слова.

Она неожиданно нагнулась и поцеловала меня в лоб и, засмеявшись, отошла к Мику, который сказал ей:

— От этого я тоже не отказался бы. Все говорят, что душой я ребенок.

— А еще женатый! Что сказала бы ваша жена? Вы, наверно, плохой человек.

— Ну, а как же! От хороших людей никакого проку, да и девушки их не любят.

— Нет, любят! — возмутилась сиделка Конрад.

— Нет, не любят, — продолжал Мик, — они как дети. Когда ребяташки моей сестры напроказят, их мать всегда говорит: «Вы становитесь такими, как ваш дядя Мик», а они думают, что лучше меня дядюшки не сыскать, черт побери!

— Вы не должны ругаться.

— Да, — весело согласился Мик, — само собой, не должен.

— Ну, не мните же одеяло! Сегодня старшая сестра начнет обход рано. Старшая сестра была полная женщина с родинкой на подбородке, из которой росли три черных волоска.

— Взяла бы да выдрала их, — заметил как-то Мик после того, как она ушла из палаты. — Но у женщин свои странности. Им кажется, что вырвать волосок значит признаться, что он был. Поэтому они предпочитают сохранять свои волоски и делают вид, что их и в помине нет. Ну что ж, пусть себе растит их на здоровье. Она и с этой бородой многим даст десять очков вперед.

Старшая сестра быстрым шагом переходила от одной кровати к другой. Ее сопровождала сиделка, которая почтительно докладывала обо всем, что по ее мнению; заслуживало внимания.

— Его рана хорошо заживает. Этому больному мы давали ипекакуану.

Старшая сестра была убеждена, что больных нужно подбадривать.

«Слова ободрения лечат лучше лекарства», — часто повторяла она, произнося три последних слова с ударением на каждом, словно заучивая скороговорку.

Халат старшей сестры был всегда так накрахмален, что стеснял ее походку; и порой казалось, что идущая позади сиделка приводит ее в движение, дергая за шнурок.

Когда она наконец появилась в дверях палаты, больные уже закончили утренние разговоры и сидели или лежали в ожидании ее прихода, подавленные строгостью безукоризненно застеленных кроватей и размышляя о своих недугах.

Мик, за глаза всегда готовый отпустить шутку по адресу старшей сестры, теперь, когда она приближалась к его постели, поглядывал на нее с почтительным страхом.

— Ну как вы себя сегодня чувствуете, Бэрк? — нарочито бодро спросила она.

— Отлично, сестра, — ответил Мик весело, но сохранить этот тон ему не удалось. — Плечо все еще болит, но уже становится лучше. А вот руку я еще не могу поднять. С ней что-нибудь серьезное?

— Нет, Бэрк, доктор этого не находит.

— Черта с два добьешься от тебя толку, — прошипел Мик, разумеется, когда она уже не могла его слышать.

Старшая сестра, подходя к моей кровати, всегда принимала тот вид, с которым взрослые утешают или смешат ребенка, чтобы произвести впечатление на окружающих. Я всегда чувствовал себя так неловко, словно меня вытолкнули на сцену и заставляют декламировать.

— Ну, как себя чувствует сегодня наш храбрый маленький мужчина? Мне говорили, что ты часто поешь по утрам. А для меня ты когда-нибудь споешь песенку?

Я так смутился, что ничего не ответил.

— Он поет песенку «Брысь, брысь, черный кот!», — сказала сиделка, выступая вперед, — и поет очень приятно.

— Наверно, ты когда-нибудь будешь певцом, — заметила старшая сестра. Ты хотел бы стать певцом?

Не дожидаясь ответа, она повернулась к сиделке и продолжала:

— Почти все дети хотят быть машинистами на паровозе, когда вырастут. Вот, например, мой племянник. Я купила ему игрушечный поезд, и он так любит играть с ним, милая крошка.

Затем она снова повернулась ко мне:

— Завтра ты ляжешь спать, а когда проснешься, твоя ножка будет в премиленьком белом коконе. Правда, это будет красиво? — Потом, обратившись к сиделке, она добавила: — Операция назначена на десять тридцать. Сестра подготовит его.

— Что такое операция? — спросил я Ангуса, когда они ушли.

— Да ничего особенного, просто займутся твоей ногой... подправят ее... В это время ты будешь спать.

Я понял, что он не хочет объяснить мне, в чем дело, и на секунду меня охватил страх.

Однажды отец не стал распрягать молодую лошадь, а просто привязал вожжи к ободу колеса и пошел выпить чашку чая; лошадь, оборвав туго натянутые вожжи, помчалась через ворота, разбила бричку о столб и ускакала. Отец, услышав грохот, выбежал из дому и постоял с минуту, рассматривая обломки, а потом обернулся ко мне (я, разумеется, выскочил вслед за ним) и сказал: «А, наплевать! Пойдем допивать чай».

Когда Ангус запнулся и оборвал свои объяснения, мне почему-то вспомнилось это восклицание отца, и сразу стало легче дышать.

— А, наплевать! — сказал я.

— Молодчина, так и надо, — похвалил меня Ангус.

Глава 5

Меня лечил доктор Робертсон — высокий мужчина, всегда одетый по-праздничному.

Всякую одежду я разделял на два вида: праздничную и будничную.

Праздничный костюм можно было надевать и в будни, но лишь в особых случаях.

Мои праздничный костюм был из грубой синей саржи — его доставили из магазина в коричневой картонной коробке; он был завернут в целлофан и издавал необычайно приятный запах, свойственный новым вещам,

Но я не любил носить этот костюм, потому что его нельзя было пачкать. Отец тоже не любил свой праздничный костюм.

— Давай-ка снимем эту проклятую штуковину, — говорил он по возвращении из церкви, куда ходил редко, и то по настоянию матери.

Меня удивляло, что доктор Робертсон вырядился по-праздничному каждый день. Но не только это озадачивало меня; я пересчитал его праздничные костюмы и обнаружил, что у него их четыре. Из этого я сделал вывод, что он, вероятно, человек очень богатый и живет в доме с газоном. Люди, у которых перед домом был разбит газон, а также все, кто разъезжал в шарабане на резиновых шинах или в кабриолете, обязательно были богачами.

Я как-то спросил доктора!

— У вас есть кабриолет?

— Да, — ответил он, — есть.

— На резиновых шинах?

— Да.

После этого мне было трудно с ним разговаривать. Все, кого я знал, были бедные. Богачей я знал по именам и видел, как они проезжали мимо нашего дома, но они никогда не смотрели на бедных и не разговаривали с ними.

— Едет миссис Карузертс! — кричала моя сестра, и мы все устремлялись к воротам, чтобы посмотреть на коляску, запряженную парой серых лошадей и с кучером на козлах.

Казалось, что мимо нас проезжает сама королева.

Я вполне мог представить себе, как доктор Робертсон беседует с миссис Карузертс, но мне трудно было привыкнуть к тому, что он разговаривает со мной.

У него было бледное, не знавшее загара лицо с сизым отливом на гладко выбритых щеках. Мне нравились его глаза — светло-голубые, окруженные морщинками, особенно заметными, когда он смеялся. Его длинные узкие руки пахли мылом, и прикосновение их было прохладно.

Он ощупал мою спину и ноги, спрашивая, не больно ли. Потом выпрямился, посмотрел на меня и сказал сестре:

— Искривление весьма значительно, поражена часть спинных мышц.

Еще раз осмотрев мою ногу, он потрепал меня по волосам и сказал:

— Мы все это скоро выпрямим. — И обратился к сестре. — Необходимо выровнять берцовую кость. — Он взял меня за лодыжку и продолжал: — Эти сухожилия придется укоротить, а стопу поднять. Мы сделаем надрез вот у этого сустава. — Он медленно провел пальцем по коже над коленом. — Выравнивать будем здесь.

Это движение его пальцев я запомнил навсегда: он провел линию там, где потом лег шрам.

Утром накануне операции он остановился около моей кровати и сказал сопровождавшей его старшей сестре:

— Мальчик, по-моему, совсем освоился: у него очень веселый вид.

— Да, да, он славный мальчуган, — подхватила сестра и добавила обычным нарочито веселым тоном: — Он даже поет «Брысь, брысь, черный кот!». Не правда ли, Алан?

— Да, — сказал я, как всегда смущаясь от ее приторного голоса.

Доктор с минуту смотрел на меня в раздумье, потом неожиданно нагнулся и откинул одеяло.

— Перевернись на живот, чтобы я мог осмотреть твою спину, — сказал он.

Я перевернулся и почувствовал, что его прохладные руки скользят по моей кривой спине, тщательно ее ощупывая.

— Хорошо, — произнес он, выпрямляясь и придерживая одеяло, чтобы я мог снова лечь на спину.

Когда я повернулся к нему лицом, он взъерошил мне волосы и сказал:

— Завтра мы выпрямим твою ногу. — И с улыбкой, которая показалась мне странной, добавил: — Ты храбрый мальчик.

Я принял эту дань уважения без малейшего чувства гордости, недоумевая, за что он меня похвалил. Мне очень захотелось, чтобы он узнал, какой я замечательный бегун. Я наконец решился сказать ему об этом, но он уже повернулся к Папаше, который, сидя в своей коляске, ухмылялся беззубыми деснами.

Папаша прижился в больнице, как кошка в доме. Это был старик пенсионер с парализованными ногами. Он передвигался по палате и выезжал на веранду в кресле-коляске, к колесам которой были приделаны специальные рычаги. Худыми жилистыми руками он проворно нажимал на рычаги и быстро ездил по палате. Я завидовал ему и в мечтах уже видел, как я ношусь по больнице в таком же кресле, а потом завоевываю первое место в спортивных колясочных гонках и, проезжая по стадиону, кричу:

«Дай дорогу!» — как заправский велогонщик.

Во время врачебного обхода Папаша занимал свою излюбленную позицию — у моей кровати. С нетерпением поглядывая на врача, обходившего палату, он сидел, готовый, как только тот остановится перед ним, поразить его сочиненной заранее тирадой. В такую минуту заговаривать с ним было бесполезно — он ничего не слышал. Но в другое время он говорил без умолку.

Он всегда был готов ныть и жаловаться и терпеть не мог ежедневных ванн.

— Эскимосы же не моются в ваннах, — оправдывался он, — а их и топором не убьешь.

Сестра заставляла его принимать ванну каждый день, а он считал это вредным для своей груди.

— Сестра, — говорил он, — не сажайте вы меня под вашу брызгалку, этак я схвачу воспаление легких.

Когда он закрывал рот, морщины на его лице становились глубокими складками. Его куполообразная голова была покрыта тонкими седыми волосками, такими редкими, что они не могли прикрыть блестящую кожу, усеянную коричневыми пятнышками.

Мне он был неприятен — но не из-за внешности, которая казалась мне интересной, а потому, что я считал его грубым и его манера выражаться смущала меня.

Как-то раз он сказал сестре:

— У меня сегодня не было выделений из кишечника, сестра. Это не опасно?

Я быстро посмотрел на нее, чтобы увидеть, как она воспримет эти слова, но она и бровью не повела.

Его постоянные жалобы раздражали меня — по моему мнению, ему хоть изредка для разнообразия следовало бы говорить, что он чувствует себя хорошо.

Иногда Мик спрашивал его:

— Как здоровье, Папаша?

— Хуже быть не может.

— Ну, пока ты еще не умер, — весело говорил Мик.

— Умереть-то не умер, да только по тому, как я себя чувствую, это может случиться в любую минуту. — Папаша мрачно покачивал головой и отъезжал к постели какого-нибудь новичка, которому еще не успели надоесть его причитания.

К старшей сестре он относился с почтением и старался не вызывать ее

неудовольствия; объяснялось это главным образом тем, что она обладала властью отправить его в приют для престарелых.

— А в таком заведении долго не протянешь, — говорил он Ангусу, особенно если ты болен. Раз ты человек старый и больной, то правительство наше так и норовит от тебя избавиться, и чем скорее, тем лучше.

Поэтому, разговаривая со старшей сестрой, он всячески старался задобрить ее и внушить ей, что страдает множеством недугов, которые оправдывают его пребывание в больнице.

Однажды, когда она спросила его, как он себя чувствует, он сказал:

— Сердце у меня в нутре мертвый-мертво, как у дохлого барана.

Я сразу же представил себе колоду мясника, а на ней влажное, холодное сердце, и мне стало не по себе.

Я сказал Ангусу:

— Сегодня я себя хорошо чувствую, очень хорошо.

— Вот это дело, — ответил он. — Никогда не вешай носа.

Ангус мне нравился.

Утром при обходе старшая сестра спросила у Папаши, который подкатил свое кресло к камину, обогревавшему палату:

— Кто помял занавеси?

Открытое окно, на котором они висели, было возле камина, и легкий ветерок относил их к огню.

— Это я сделал, сестра, — признался Папаша, — боялся, как бы не загорелись.

— У вас грязные руки, — сердито сказала сестра, — все занавеси в темных пятнах. Извольте впредь просить сиделку, чтобы она их отдергивала.

Папаша заметил, что я прислушиваюсь, и немного погодя сказал:

— Знаешь, старшая сестра — прекрасная женщина. Вчера она спасла мне жизнь; она, кажется, расстроилась из-за этих занавесей, да только, будь я дома и будь это мои занавеси, я бы их все равно примял. С огнем шутки плохи.

— Мой отец видел, как сгорел дом, — сказал я.

— Да, да, — нетерпеливо произнес Папаша, — но сейчас дело не в этом. Судя по тому, с каким видом твой отец расхаживал по палате, он, наверно, много чего насмотрелся. Пламя могло лизнуть занавеску, и она бы разом вспыхнула; вот как это бывает.

Иногда Папашу навещал пресвитерианский священник. Этот человек в темной одежде знал Папашу еще тогда, когда старик жил в хижине у реки.

После того как Папашу взяли в больницу, он продолжал навещать его и приносил ему табак и номера «Вестника». Это был молодой священник, всегда говоривший серьезно и пятившийся, словно пугливая лошадь, стоило кому-нибудь из сиделок обратиться к нему с вопросом. Папаше не терпелось его женить, и он сватал его то одной, то другой сиделке. Я всегда с большим интересом прислушивался к тому, как он расхваливал священника и как ему отвечали сиделки, но, когда старик заговорил об этом с сиделкой Конрад, я перепугался, подумав, что она может согласиться.

— Ну где ты найдешь такого хорошего жениха? — говорил ей Папаша. Домик у него славный, а что он не очень чистый, так не беда, ты наведешь порядок. Тебе достаточно сказать одно словечко. Он порядочный человек и соблюдает себя.

— Я подумаю, — обещала сиделка Конрад Папаше, — может быть, я схожу посмотреть его домик. А есть у него лошадь и двуколка?

— Нет, — отвечал Папаша, — ему негде их держать.

— А я хочу лошадь и двуколку, — сказала она весело.

Тут я крикнул ей:

— У меня когда-нибудь будет и лошадь и двуколка!

— Ну и отлично, я выйду замуж за тебя. — Она улыбнулась мне и помахала рукой.

Я откинулся на спинку кровати, сразу с волнением почувствовав себя взрослым, обремененным ответственностью. У меня не было ни малейшего сомнения, что теперь мы с сиделкой Конрад обручены, и я старался придать своему лицу то выражение, с каким отважный путешественник устремляет взор в морскую даль. Несколько раз подряд я повторил про себя: «Мы запишем это на ваш счет». Говорить такие слова, по моему глубокому убеждению, могли только взрослые, и, когда я хотел почувствовать себя мужчиной, а не маленьким мальчиком, я по нескольку раз произносил их про себя. Вероятнее всего, я услышал эту фразу, когда ходил с отцом по лавкам.

Весь день я обдумывал планы, как обзавестись лошадью и двуколкой.

Когда доктор Робертсон кончил осматривать меня, он спросил Папашу:

— Как вы себя чувствуете сегодня, Папаша?

— Знаете, доктор, меня всего свело, словно я песком набит. Думаю, следовало бы меня промыть. Как, по-вашему, порция слабительного мне поможет?

— Пожалуй, — с серьезным видом ответил доктор. — Я распоряжусь, чтобы вам его дали.

Доктор направился к кровати пьяницы. Тот уже сидел, дожидаясь,

чтобы к нему подошли. Его губы подергивались, а на лице застыло выражение тревоги.

— Как вы себя чувствуете? — сухо спросил доктор.

— Меня все еще трясет, — ответил пьяница, — а так хорошо. Наверно, доктор, меня уже можно выписать.

— Мне кажется, Смит, что у вас в голове еще не совсем прояснилось. Разве вы сегодня утром не расхаживали по палате совершенно голым?

Больной ошеломленно посмотрел на него и быстро заговорил:

— Да, это верно, я вставал. Мне надо было помыть ноги. Они были очень горячие. Подошвы прямо жгло.

— Посмотрим, — коротко сказал доктор. — Может быть, завтра мы вас выпишем.

Он быстро отошел к соседней кровати, а больной продолжал сидеть, наклонившись вперед, и теревить одеяло.

Вдруг он лег и застонал:

— Господи, господи!

Как только доктор Робертсон кончил обход, моей матери, которая уже давно ждала в приемной, разрешили войти в палату. Когда она подходила ко мне, я испытывал неловкость и смущение. Я знал, что она будет целовать меня, а мне это казалось ребячеством. Отец меня когда не целовал.

— Мужчины не целуются, — говорил он мне.

Всякое проявление чувств я считал слабостью. Но если бы мать меня не поцеловала, я был бы огорчен.

Я ее не видел уже несколько недель, и она показалась мне совсем новой. Ее улыбка, ее спокойная походка, ее светлые волосы, собранные в пучок на затылке, были мне так хорошо знакомы, что раньше я их не замечал; теперь же мне было очень приятно увидеть их как будто в первый раз.

— Ее мать была ирландка из Типперери, а отец — немец. Это был мягкий и добрый человек; в Австралию он приехал вместе с немецким оркестром, где он играл на контрабасе. Моя мать, наверно, была похожа на своего отца. У нее были такие же светлые волосы, такая же приятная внешность, такое же открытое лицо.

Частые поездки в повозке зимой, в ветер и дождь, оставили свой след на ее огрубевшем лице, которое не знало никакой косметики — не потому, что она не верила в ее силу, а потому, что на это у нее не хватало денег.

Когда мать подошла к моей кровати, она, должно быть, заметила, что я смутился.

— Я хотела бы поцеловать тебя, — шепнула она мне, — но тут столько людей смотрит на нас... Будем считать, что мы поцеловались.

Когда приходил отец, он обычно завладевал разговором, несмотря на все свое умение слушать; но когда меня навещала мать, больше говорил я.

— Ты много яиц принесла? — спросил я. — У нас есть один больной, он бедный, и у него нет яиц. Когда он смотрит на стул, стул движется.

Мать взглянула на моего соседа (разговаривая, я смотрел на него) и ответила:

— Да, я принесла много яиц.

Затем она пошарила в сумке и сказала:

— Я принесла тебе еще кое-что.

С этими словами она достала пакет, перевязанный веревочкой.

— Что это? — прошептал я взволнованно. — Покажи! Нет, я сам разверну. Дай мне.

— Пожалуйста, — подсказала она, отодвигая пакет.

— Пожалуйста, — повторил я, протягивая к нему руку.

— Это тебе прислала миссис Карузерс, — продолжала она. — Мы еще не раскрывали пакета, и нам всем хочется узнать, что в нем.

— Как она его принесла? — спросил я, положив пакет к себе на колени. Она входила в дом?

— Она подъехала к воротам, передала его Мэри и сказала, что это для ее маленького больного братца.

Я дернул веревочку, пытаясь ее разорвать. Как и отец, я всегда строил недовольные гримасы, когда должен был задать работу пальцам. Отец всегда гримасничал, открывая перочинный нож. «Это по наследству от матери», говорил он.

— Господи, что это за рожу ты скорчил? — воскликнула мать. — Ну-ка давай сюда пакет. Я сейчас разрежу. Нет ли у тебя в тумбочке ножа?

— Возьмите в моей, — сказал смотревший на нас Ангус. — Где-то с краю, вот в этом ящике.

Мать нашла нож и разрежала веревочку. Я развернул бумагу, на которой красовалась внушительная надпись: «Мистеру Алану Маршаллу», и с волнением стал рассматривать крышку плоского ящика, украшенную изображением ветряных мельниц, тачек, фургонов, сделанных из просверленных металлических полосок. Я приподнял крышку и увидел металлические квадратики и рядом с ними в маленьких отделениях винтики, отвертки, колесики и гаечные ключи. Мне не верилось, что все это — мое.

Подарок произвел на меня огромное впечатление, но то, что его

прислала мне миссис Карузерс, казалось просто невероятным.

Можно было почти без преувеличения сказать, что поселок Туралла — это миссис Карузерс. Она построила в нем пресвитерианскую церковь, воскресную школу и добавила флигели к дому священника. Она жертвовала деньги на ежегодные школьные премии. Все фермеры были у нее в долгу. Она была председателем «Отряда надежды», «Библейского общества» и «Лиги австралийских женщин». Ей принадлежали гора Туралла, озеро Туралла и лучшие земли вдоль реки Тураллы. У нее была особая мягкая скамья в церкви и особый молитвенник в кожаном переплете.

Миссис Карузерс знала все церковные гимны и пела их, возводя глаза к небу. Но гимны «Ближе, господь, к тебе», и «Веди нас, ясный светоч» она пела альтом, прижимая подбородок к шее, и тогда казалась хмурой и строгой потому, что ей приходилось петь очень низким голосом.

Когда священник называл эти гимны, отец обычно бормотал, уставившись в молитвенник: «Ну, сейчас заведет!», но матери такие реплики не нравились.

— У нее очень хороший голос, — сказала она как-то отцу за воскресным обедом.

— Голос хороший, — сказал отец, — это я за ней признаю, да только она всегда тащится в хвосте, а у финиша обходит всех нас на полкорпуса. Того и гляди, она себя загонит.

Мистер Карузерс давно умер. При жизни он, как нам говорил отец, всегда против чего-нибудь протестовал. Протестуя, он поднимал пухлую руку и откашливался. Он протестовал против коров, которые паслись у дороги, и против падения нравов. Кроме того, он протестовал против моего отца.

В 1837 году отец мистера Карузерса, представитель какой-то английской компании, прибыл в Мельбурн, а оттуда с караваном повозок, запряженных волами и нагруженных припасами, направился на запад. Говорили, что в сотне с небольшим миль от города, в богатом лесами краю, поселенцев дожидаются прекрасные вулканические земли. Правда, добавлялось, что в этих местах туземцы относятся к белым враждебно и с ними так или иначе придется разделаться. Для этого участникам экспедиции были розданы ружья.

В дальнейшем мистер Карузерс стал владельцем сотен квадратных миль хорошей земли, которая теперь была разделена на десятки ферм, и арендная плата с них приносила немалый доход. Большой дом сине-серого камня, который мистер Карузерс построил в поместье, перешел по

наследству к его сыну, а когда тот умер, стал собственностью миссис Карузерс.

Этот огромный дом был окружен парком, занимавшим тридцать акров. Парк был разбит в английском стиле — с чинными дорожками для прогулок и церемонными цветниками, находившимися под неустанным присмотром садовника.

В тени вязов и дубов, под кустами, вывезенными из, Англии, многочисленные фазаны, павлины и пестрые китайские утки что-то клевали и рылись в прошлогодней листве. Среди этих пернатых прогуливался мужчина в гетрах и с ружьем в руках; иногда раздавались выстрелы: это он стрелял в белых и розовых попугаев, прилетавших полакомиться плодами во фруктовом саду.

Весной английские подснежники и нарциссы расцветали среди темной зелени австралийского папоротника, а садовники катили нагруженные доверху тачки между европейскими флоксами и мальвами. Своими острыми лопатками они ударяли по пучкам травы и по ворохам веток и листьев, лежащим у подножия немногих сохранившихся эвкалиптов, подсекая корни уцелевших диких австралийских цветов; те вздрагивали и падали, и их увозили в тачках, чтобы затем сжечь.

И на тридцати акрах царили чистота и порядок, все было прибрано и приглажено.

— Чернокожие теперь не узнали бы эти места, — сказал отец, когда мы как-то проезжали мимо ворот поместья.

От ворот до дверей дома вилась вымощенная гравием, обсаженная вязами дорога. Сразу же за воротами уютился небольшой коттедж, где жил привратник с семьей. Как только раздавался цокот копыт и шум подъезжавшего экипажа, он выбегал из домика, распахивал ворота и снимал перед приехавшим гостем шляпу. Гости — скваттеры в шарабанах, запряженных парой, приезжие из города в рессорных экипажах, дамы с осинными талиями, церемонно восседавшие в фаэтонах, глядя поверх голов чопорных девочек и мальчиков, примостившихся на краешке переднего сиденья, — все они проезжали мимо сторожки, кивая или покровительственно улыбаясь привратнику, встречавшему их со шляпой в руке, или и вовсе его не замечая.

На полпути от ворот к усадьбе находился небольшой загон. Когда-то здесь высокие голубые эвкалипты вздымали свои обнаженные руки над кенгуровой травой и казуаринами, но теперь это место затеняли темные сосны, и земля под ними была густо усыпана коричневой хвоей.

Внутри загона по кругу беспрестанно ходил олень — по одной и той

же протоптанной дорожке, тянувшейся вдоль ограды. Иногда он поднимал голову и хрипло ревел, и тогда болтливые сороки прекращали свою трескотню и поспешно разлетались в разные стороны.

Наискосок от загона виднелись конюшни — двухэтажные постройки из серо-голубого камня с сеновалами, стойлами и кормушками, выдолбленными из стволов деревьев! Перед конюшнями на вымощенной булыжниками площадке конюхи, присвистывая на английский лад, чистили скребницами лошадей, а те беспокойно перебирали ногами и помахивали подстриженными хвостами, тщетно пытаясь отогнать надоедливых мух.

От конюшен к портику хозяйского дома вела широкая дорога. Если какой-нибудь путешествующий сановник или просто английский джентльмен с супругой приезжали сюда из Мельбурна, чтобы познакомиться с жизнью большого поместья и увидеть «настоящую Австралию», экипаж останавливался под портиком и, после того как седоки, выходили, направлялся по этой дороге к конюшням.

В честь приезда гостей чета Карузерт устраивала балы, и в такие вечера на заросшем папоротником холме, который высился за домом, под несколькими уцелевшими акациями собирались самые смелые и любопытные обитатели Тураллы, чтобы поглазеть сквозь большие освещенные окна на женщин в платьях с глубоким вырезом и с веерами в руках, приседавших перед своими кавалерами в первых па вальса-кадрили. До небольшой кучки любопытных доносилась музыка, и они не ощущали холода. Они слушали волшебную сказку.

Однажды среди любопытных находился и мой отец; он держал в руках полупустую бутылку; и каждый раз, когда за освещенными окнами кончалась очередная фигура танца, он издавал веселый возглас, а потом, продолжая что-то выкрикивать, кружился вокруг акаций с бутылкой вместо дамы.

Вскоре для выяснения причины этих воплей из большого дома вышел тучный мужчина, у которого на золотой цепочке от часов в виде брелока висел миниатюрный портрет его матери, оправленный в золото львиный коготь и какие-то медали.

Он приказал отцу уйти, а когда тот не унялся, замахнулся на него кулаком. Объясняя то, что произошло вслед за этим, отец говорил:

— Я уклонился, перешел в захват и сыграл на его ребрах, как на ксилофоне, а он так охнул, что чуть мою шляпу не унесло.

Потом отец помог своему противнику встать и почиститься, сказав при этом:

— Я как увидел ваши побрякушки, так сразу понял, что вы не в форме.

— Да, — ответил тот растерянно. — Побрякушки... да, да... Меня немножко оглушило.

— Хлебните-ка, — сказал отец, протягивая ему свою бутылку.

Тот отпил из нее, и они с отцом обменялись рукопожатием.

— Он неплохой малый, — говорил нам потом отец, — просто затесался в дурную компанию.

Отец объезжал лошадей Карузерса и дружил с его главным конюхом Питером Финли. Питер частенько захаживал к нам, и они с отцом обсуждали статьи в «Бюллетене» и прочитанные ими книги.

Питер Финли происходил из «хорошей» семьи, но был, что называется, «паршивой овцой», и родные, чтобы избавиться от него, обещали выплачивать ему пособие, если он уедет в Австралию. Он умел поговорить на любую тему. Зато члены семьи Карузерс особым красноречием не отличались. Репутация умных людей, которой они пользовались, была основана главным образом на умении произнести в нужный момент «гм, да» или «гм, нет».

Питер говорил быстро, с увлечением, и его охотно слушали. Мистер Карузерс часто повторял, что Питер умел поддерживать умный разговор, потому что получил хорошее воспитание, и выражал сожаление, что Питер пал так низко.

Питер с ним не соглашался.

— Жизнь моего старика превратилась в сплошную церемонию, — рассказывал он моему отцу. — Да еще какую! Меня самого чуть было не засосало.

Мистеру Карузерсу было нелегко развлекать важных персон, которых он приглашал погостить у себя в поместье. Когда вечером после обеда он сидел с ними за вином, в разговоре то и дело возникали томительные паузы. Путешествовавший сановник или титулованный англичанин не находили ничего занимательного в «гм, да» или «гм, нет», и поэтому, если гости мистера Карузерса были высокопоставленными особами, предпочитавшими пить послеобеденный коньяк за оживленной беседой, он неизменно посылал на конюшню за Питером.

Питер без промедления направлялся к большому дому и входил в него с черного хода. В маленькой комнате, специально для этого предназначенной, стояла кровать атласным одеялом, а на кровати лежал один из лучших костюмов мистера Карузерса, аккуратно сложенный. Питер облачался в него и шествовал в гостиную, где его представляли присутствующим как приезжего англичанина.

За обедом его беседа восхищала гостей, а мистер Карузерс получал

возможность с умным видом произносить свои «гм, да» и «гм, нет».

Когда гости расходились по спальням, Питер снимал костюм мистера Карузера и возвращался в свою комнатку за конюшней.

Однажды он пришел к моему отцу и сказал, что мистер Карузерс хотел бы, чтобы отец продемонстрировал свое мастерство в верховой езде перед какими-то именитыми гостями, желавшими увидеть «настоящую Австралию».

Сначала отец рассердился и послал их ко всем чертям, но затем согласился, с условием, что ему заплатят десять шиллингов.

— Десять шиллингов — это десять шиллингов, — рассуждал он. — Такими деньгами швыряться не следует.

Питер ответил, что хоть это и дороговато, но мистер Карузерс, пожалуй, согласится.

Отец не очень ясно представлял себе, что такое «настоящая Австралия», хотя и сказал Питеру, что тем, кто хочет ее увидеть, надо бы заглянуть к нам в кладовую. Отец иногда говорил, что бедность — это и есть настоящая Австралия, но такие мысли приходили ему в голову только когда он бывал в грустном настроении.

Перед тем как отправиться в усадьбу, он повязал шею красным платком, надел широкополую шляпу и оседлал гнедую кобылу, по кличке «Баловница», которая начала брыкаться, стоило только коснуться ее бока каблуков

Высотой она была ладоней в шестнадцать и прыгала не хуже кенгуру. И вот, когда гости уселись на просторной веранде, попивая прохладительные напитки, отец галопом вылетел из-за деревьев, испуская оглушительные вопли, словно лесной разбойник.

Вспоминая об этом, он рассказывал мне:

— Значит, выезжаю я из-за поворота к жердевым ротам — земля перед ними плотная, и, хоть усыпана гравием, опора есть. Я всегда говорю, что лошадь с пастбища наверняка себя оправдает, Баловницу я только что объездил и она была свежа, как огурчик. Ну, конечно, она на препятствие слишком рано неопытная была и — я вижу: сейчас зацепит. Ворота были высоченные хоть ходи под ними. Конюхи боялись, что Карузерс кого-нибудь уволит, если поставит ворота пониже. Да с него бы и случилось. — Отец сделал презрительный жест и вернулся к своему повествованию: — Чувствую, что Баловница прыгнула, и приподнимаюсь, чтобы уменьшить свой вес. Между моим телом и седлом можно было просунуть голову. Но меня беспокоили ее передние ноги. Если они перейдут, то все в порядке.

Черт возьми, ну и дрыгала же эта лошадь! Разрази меня гром, если

вру! Она извернулась и выжала еще два дюйма прямо в воздухе. Правда, задними она все-таки зацепилась, но, едва приземлившись, через два скачка снова вошла в аллюр. А я сижу в седле как ни в чем не бывало.

Ну, осадил я ее прямо перед верандой и поднял на дыбы под самым носом у гостей Карузера. А они, не допив своих стаканов, повскакали с мест так, что все стулья попрокидывали.

Ну, а я вонзил каблуки в бока Баловницы. Она как метнется в сторону и завизжит, что твой поросенок. Хотела прижать меня к дереву, вредная тварь. Я ее повернул, хлопая шляпой по ребрам, а она боком прямо на веранду и давай лягаться, как взмахнет копытами, так и разнесет в щепу стол или стул. Кругом летят стаканы с грогом, женщины пищат, мужчины бегают, а некоторые с геройским видом загораживают дам, те за них цепляются — ну, словом, корабль идет ко дну, спасайся кто может, и давайте умрем достойно! Черт возьми, вот был ералаш!..

Дойдя до этого места в своем повествовании, отец начинал смеяться. Он смеялся до слез, так что ему приходилось даже осушать их носовым платком.

— Да, черт подери... — говорил он, переводя дыхание и заканчивая рассказ. — Прежде чем мне удалось сладить с Баловницей, я сшиб с ног сэра Фредерика Сейлсбэри, или как его там, и он полетел вверх тормашками прямо на выводок павлинов.

— Папа, это было на самом деле? Все это правда? — как-то спросил я отца.

— Да, черт возьми, правда... Впрочем, погоди... — Он нос и потер рукой подбородок. — Нет, сынок, это, пожалуй, и неправда, — признался он. — Что-то похожее было на самом деле, но когда об одном и том же рассказываешь много раз подряд, то стараешься, чтобы получилось занятней и смешнее. Нет, я не врал. Я просто рассказал смешную историю. Ведь хорошо, когда удается рассмешить людей. На свете и так слишком много всякой всячины, наводящей тоску.

— Это вроде рассказа об олене? — спросил я.

— Да, — ответил он, — вроде того. Я ездил на нем верхом, вот и все.

Мистер Карузерс протестовал против моего отца из-за того, что тот прокатился на его олене.

— Олень все ходил и ходил по кругу, бедняга, — рассказывал отец, — а мы с ребятами влезли на забор, и, да олень пробежал подо мной, я взял да и прыгнул ему на спину. Конечно, это они меня раззадорили. — Он умолк; рассеянно уставился вдаль, потер подбородок и, слегка улыбнувшись, добавил «черт возьми!» тоном, который не оставлял сомнений в том как

отнесся олень к своему непрошеному наезднику.

Отец ни разу не рассказывал мне подробностей той проделки, — очевидно, он считал ее ребячеством. И когда я продолжал его расспрашивать: «А олень побежал?» — он ограничивался тем, что коротко отвечал: «Да еще как!»

Я решил расспросить об этом эпизоде Питера Финли. По моему мнению, отец не хотел вспоминать о приключении с оленем потому, что олень его сбросил.

— Олень задал отцу трепку? — спросил я Питера.

— Нет, — ответил он, — твой отец задал трепку оленю.

Впоследствии мне кто-то рассказал, что олень обломил об отца рог. Это и вызвало недовольство мистера Карузерса, который собирался, когда олень сбросит рога, повесить их в гостиной над камином, как он это проделывал каждый год.

После смерти мистера Карузерса миссис Карузерс куда-то отправила оленя. Но когда я подрос настолько, что стал тайком забираться в парк, еще можно было деть глубокий след, протоптанный оленем там, где он ходил и ходил по кругу.

Вот почему, а также потому, что все в Туралле, за исключением моего отца, относились к миссис Карузерс с трепетом, я с таким благоговением рассматривал лежавший передо мной ящик и ценил его гораздо выше любого подарка, который мне когда-либо приносили. Он имен такую цену в моих глазах не сам по себе (коробка из под свечей на колесиках доставила бы мне гораздо больше удовольствия), но в нем я видел свидетельство того что миссис Карузерс знает о моем существовании и считает меня важной персоной, достойной получить от нее подарок.

Ведь кроме меня, никто во всей Туралле не получал подарков от миссис Карузерс. А она была обладательницей коляски на дутых шинах, пары серых лошадей, целого выводка павлинов и бесчисленных миллионов.

— Мама, — сказал я, глядя на мать и все еще крепко держа ящик, — когда миссис Карузерс отдавала Мэри подарок, Мэри ее потрогала?

Глава 6

На следующее утро мне не принесли завтрака, но я и не хотел есть. Я был возбужден и встревожен, временами меня охватывал страх, и тогда мне очень хотелось, чтобы мама была рядом.

В половине одиннадцатого сиделка Конрад подкатила к моей кровати тележку, напоминавшую узкий стол на колесах, и сказала:

— Садись, сейчас мы с тобой прокатимся. Она откинула одеяло.

— Я сам сяду, сам, — сказал я.

— Нет, я подниму тебя, — возразила она. — Разве ты не хочешь, чтобы я тебя обняла?

Я быстро оглянулся на Ангуса и Мика, чтобы увидеть, слышали ли они эти слова.

— Чего ты ждешь? — крикнул мне Мик. — Ведь лучшего барашка-подманка на свете не сыскать. Поторапливайся.

Она подняла меня и несколько секунд подержала, на руках, улыбаясь мне.

— Я ведь не барашек-подманок, правда?

— Нет, — ответил я, не зная, что подманком на бойнях называют барана-предателя, приученного водить партии овец, предназначенных на убой, в загоны, где их режут.

Она положила меня на холодный плоский верх тележки и покрыла одеялом.

— Поехали! — весело воскликнула она. — Держи хвост трубой! — подбодрил меня Ангус. — Скоро вернешься к нам.

— Да, да, проснешься в своей собственной тепленькой постельке, сказала сиделка Конрад.

— Желаю удачи! — крикнул Мик. Пьяница приподнялся на локте и, когда мы проезжали мимо его кровати, хриплым голосом сказал:

— Спасибо за яйца, дружище. — И затем чуть погромче добавил: Молодчина!

Сиделка Конрад покатила тележку по длинному коридору и через стеклянные двери вкатила ее в зал, посередине которого стоял высокий стол на тонких белых ножках.

Сестра Купер и еще одна сиделка стояли у скамьи, на которой лежали на белой салфетке стальные инструменты.

— Вот мы и приехали, — сказала сестра; она подошла ко мне и погладила меня по голове.

Я посмотрел ей в глаза, ища в них поддержки и ободрения.

— Боишься? — спросила она.

— Да.

— Глупышка, бояться нечего. Через минуту ты уснешь, а немного погодя проснешься в своей кроватке.

Я не понимал, как это могло быть. Я был уверен, что сразу проснусь,

как только до меня дотронутся. Мне казалось, что они так говорят для того, чтобы меня надуть, и я вовсе не проснусь в своей кровати, а, наоборот, со мной случится что-то страшное. Но сиделке Конрад я верил.

— Я не боюсь, — сказал я сестре.

— Я это знаю, — сказала она мне на ухо и, перенеся меня на стол, положила мне под голову маленькую подушечку. — Теперь не двигайся, а то скатишься вниз.

В это время быстрым шагом вошел доктор Робертсон! массируя свои пальцы, он улыбался мне.

— «Брысь, брысь, черный кот!» Ты ведь эту песенку поешь?

Он погладил меня по голове и отвернулся.

— Беговые дрожки и черные кошки, — бормотал он, пока одна из сиделок помогала ему надеть белый халат, — Беговые дрожки и черные кошки. Ну ладно!

Вошел доктор Кларк, седоволосый, с узкими губами.

— Муниципалитет так и не засыпал яму у ворот, — говорил он в то время, как сиделка подавала ему халат. — Не понимаю... нельзя полагаться ни на чье слово... Халат, кажется, слишком велик. Нет, это все-таки мой.

Я уставился на белый потолок и думал о луже, которая всегда появлялась у наших ворот после дождя. Мне нетрудно было ее перепрыгнуть, но Мэри этого не могла. Я же мог перепрыгнуть через любую лужу.

Доктор Кларк подошел к моему изголовью и стоял там, держа над моим носом белую подушечку, похожую на ракушку.

По знаку доктора Робертсона он напил подушечку жидкостью из маленькой синей бутылочки, и, когда я сделал вдох, я едва не задохнулся. Я вертел головой из стороны в сторону, но он продолжал держать подушечку над моим носом, и я увидел разноцветные огни, потом вокруг сгустились облака, и, окутанный ими, я поплыл неведомо куда.

Однако я проснулся не в своей постели, как обещали мне сестра Купер и сиделка Конрад. Я пытался пробиться сквозь туман, сквозь мир, где все кружилось, — и не мог понять, где я, но вдруг на минуту сознание прояснилось, и я увидел над собой потолок операционной. Немного спустя я разглядел лицо сестры. Она мне что-то говорила, но я не мог ее расслышать; минуту погодя мне это удалось.

Она говорила:

— Проснись.

Несколько мгновений я пролежал тихо, потом вспомнил все, что произошло, и почувствовал, что меня надули.

— Я вовсе не в кровати, как вы говорили, — прошептал я.

— Нет, ты проснулся раньше, чем тебя туда отвезли, — объяснила сестра. — Ты совсем не должен шевелиться, ни чуточки, — продолжала она. — Гипс на ноге еще мокрый.

И тут я ощутил тяжесть своей ноги и каменную хватку гипса на бедрах.

— А теперь лежи спокойно, — сказала она. — Я выйду на минутку. Приглядите за ним, сиделка, — обратилась она к сиделке Конрад, раскладывавшей инструменты по стеклянным ящикам.

Сиделка Конрад подошла ко мне.

— Ну, как себя чувствует мой мальчик? — спросила она.

Ее лицо показалось мне очень красивым. Мне нравились ее толстые щеки, похожие на наливные яблоки, смешливые маленькие глазки, прятавшиеся под густыми темными бровями и длинными ресницами. Я хотел, чтобы она посидела со мной, не отходила от меня. Я хотел подарить ей двуколку и лошадь. Но мне было плохо, я испытывал какую-то робость и не мог сказать ей всего этого.

— Не надо двигаться, ладно? — предупредила она меня.

— Я, кажется, немного пошевелил пальцами ноги.

Чем больше меня предостерегали, что нельзя двигаться, тем сильнее мне хотелось это сделать, главным образом для того, чтобы, выяснив, что после этого произойдет. Я чувствовал, что как только проверю, могу ли двигаться, то удовольствуюсь одним сознанием этого затем уже буду лежать спокойно.

— Нельзя шевелить даже пальцами, — сказала сиделка.

— Больше не буду, — обещал я.

Меня продержали на операционном столе до обеда, затем осторожно подкатали к моей кровати, где была установлена стальная рама, поддерживавшая одеяло высоко над моими ногами и мешавшая мне видеть Мика который лежал напротив.

Это был день посещений. В палату один за другим входили родственники и друзья больных, нагруженные пакетами. Смущенные присутствием стольких больных они торопливо пробирались мимо кроватей, не спуская взгляда с тех, кого пришли навестить. Последние той чувствовали себя неловко. Они глядели в сторону, дела вид, что не замечают своих посетителей, пока те не оказывались у самой кровати.

Но и у тех больных, которые не имели друзей или родственников, тоже не было недостатка в посетителях. К ним подходили то молодая девушка из «Армии спасения», то священник или проповедник и, конечно, неизменная

мисс Форбс.

Каждый приемный день она приходила нагруженная цветами, душиспасительными книжечками и сладостями. Ей было, вероятно, лет семьдесят; она ходила с трудом, опираясь на палку. Постукивая этой палкой по кроватям больных, не обращавших на нее внимания, она говорила:

— Ну, молодой человек, надеюсь, вы выполняете предписания врача. Только так и можно выздороветь. Вот вам пирожки с коринкой. Если их хорошо прожевать, они не вызовут несварения желудка. Пищу всегда надо хорошо разжевывать.

Мне она каждый раз давала леденец.

— Они очищают грудь, — говорила она. Теперь она, как обычно, остановилась у меня в ногах и ласково сказала:

— Сегодня тебе сделали операцию, не так ли? Ну, доктора знают, что делают, и я уверена, что все будет хорошо. Ну-ну, будь умницей, будь умницей...

Моя нога болела, и мне было очень тоскливо. Я заплакал.

Она встревожилась, быстро подошла к моему изголовью и растерянно остановилась: ей хотелось меня успокоить, но она не знала, как это сделать.

— Бог поможет тебе перенести эти страдания, — произнесла она убежденно. — Вот в этом ты найдешь утешение.

Она вынула из своей сумки несколько книжечек и дала мне одну.

— На, почитай, будь умницей.

Она дотронулась до моей руки и все с тем же растерянным видом пошла дальше, несколько раз оглянувшись на меня.

Я принялся рассматривать книжечку, которую держал в руке, — мне все казалось, что в ней скрыто какое-то волшебство, какой-то знак господень, божественное, откровение, благодаря которому я восстану с одра, как Лазарь, и начну ходить.

Книжечка была озаглавлена «Отчего вы печалуетесь?» и начиналась словами: «Если в жизни своей вы чуждаетесь бога, печаль ваша не напрасна. Мысль о смерти и о грядущем суде не напрасно печалит вас. Если это так, то дай бог, чтобы ваша печаль все возрастала, пока наконец вы не найдете успокоения в Иисусе».

Я ничего не понял. Я положил книжечку и продолжал тихо плакать.

— Как ты себя чувствуешь, Алан? — спросил Ангус.

— Мне плохо, — сказал я и немного погодя добавил: — Нога болит.

— Это скоро пройдет, — ответил он, чтобы успокоить меня.

Но боль не проходила.

Когда я лежал на операционном столе и гипс на моей правой ноге и

бедрах был еще влажным и мягким, короткая судорога, вероятно, отогнула мой большой палец, а у парализованных мышц не хватало сил выпрямить его. Непроизвольным движением бедра я также сдвинул внутреннюю гипсовую повязку, и на ней образовался выступ, который, словно тупой нож, стал давить на бедро. В последующие две недели он постепенно все больше врезался в тело, пока не дошел до кости.

Боль от загнутого пальца не прекращалась ни на минуту, но боль в бедре казалась чуть легче, когда я изгибался и лежал смиренно. Даже в краткие промежутки между приступами боли, когда я забывался в дремоте, меня посещали сны, которые были полны мук и страданий.

Когда я рассказал доктору Робертсону о мучившей меня боли, он сдвинул брови и задумался, поглядывая на меня:

— Ты уверен, что болит именно палец?

— Да. Все время, — отвечал я. — Не перестает ни на минуту.

— Это, наверно, колено, — говорил он старшей сестре. — А ему кажется, что палец. — Ну, а бедро тоже все время болит? — снова обратился он ко мне.

— Оно болит, когда я двигаюсь. Когда я лежу спокойно, боли нет.

Он потрогал гипс над моим бедром.

— Больно?

— Ой! — крикнул я, пытаюсь отодвинуться от него. — Ой, да...

— Гм... — пробормотал он.

Через неделю после операции злость, которая помогала мне переносить эти муки, уступила место отчаянию; даже страх, что меня сочтут маменькиным сынком, перестал меня сдерживать; я плакал все чаще и чаще. Плакал молча, уставившись широко раскрытыми глазами сквозь застилавшие их слезы в высокий белый потолок надо мной. Мне хотелось умереть, и в смерти я видел не страшное исчезновение жизни, а всего лишь сон без боли. Вновь и вновь я повторял про себя в каком-то отрывистом ритме: «Я хочу умереть, я хочу умереть, я хочу умереть».

Через несколько дней я обнаружил, что двигая головой из стороны в сторону в такт повторяемым словам, могу заставить себя забыть про боль. Мотая головой, я не закрывал глаза, и белый потолок становился туманным и расплывался, а кровать, на которой я лежал, отрывалась от пола и куда-то летела.

Голова нестерпимо кружилась, и я проносился по огромным кривым сквозь облачное пространство, сквозь свет и тьму, уже не чувствуя боли, но испытывая сильную тошноту.

Я оставался там, пока воля, заставлявшая меня делать движения

головой, не ослабевала, и тогда я медленно возвращался к мерцающим, качающимся бесформенным теням, которые медленно и постепенно принимали очертания кроватей, окон и стен палаты.

Обычно я прибегал к этому способу утolenия боли ночью, но если боль становилась нестерпимой, — и днем, когда никого из сиделок не было в палате.

Ангус, наверно, заметил, как я дергаю головой из стороны в сторону, потому что однажды, когда я только начал это делать, он меня спросил:

— Зачем ты это делаешь, Алан?

— Просто так, — ответил я.

— Послушай, — сказал он мне, — мы же приятели. Зачем ты двигаешь головой? Тебе больно?

— От этого боль проходит.

— А! Вот в чем дело! — воскликнул он. — Каким же образом она проходит?

— Я ничего не чувствую. Голова кружится — и все, — объяснил я.

Он больше не сказал ни слова, но немного погодя я услышал, как он говорил сиделке Конрад, что нужно что-то предпринять.

— Он терпеливый парнишка, — говорил Ангус. — Если бы ему не было плохо, он не стал бы этого делать.

Вечером сестра сделала мне укол, и я спал всю ночь, но на следующий день боль продолжалась; мне дали порошок аспирина, велели лежать спокойно и стараться заснуть.

Я выждал, пока сиделка вышла из палаты, и начал снова мотать головой. Но она ожидала этого и все время наблюдала за мной через стеклянную дверь.

Ее звали сиделка Фриборн, и все ее терпеть не могли. Она была исполнительной и умелой, но делала только то, что полагалось, и ничего больше.

— Я не прислуга, — сказала она одному больному, когда тот попросил ее передать мне журнал.

Если к ней обращались с какой-нибудь просьбой, которая могла задержать ее хоть на минуту, она отвечала:

— Разве вы не видите, что я занята?

Она быстро вернулась в палату.

— Несносный мальчишка! — сказала она резко. — Сейчас же прекрати это! Если еще раз вздумаешь трясти головой, я скажу доктору, и он тебе задаст. Ты не должен этого делать. А теперь лежи спокойно. Я послежу, как ты себя ведешь.

И крупными шагами она направилась к двери, плотно сжав губы. У порога она еще раз оглянулась на меня:

— Запомни, если я тебя еще раз застану за этим занятием, тебе несдобровать!

Ангус проводил ее сердитым взглядом.

— Слышал? — спросил он Мика. — А еще сиделка! Подумать только! Черт знает что...

— Она, — Мик презрительно махнул рукой, — она сказала мне, что я болен симулянтом. Я ей покажу симулянт. Если она еще раз меня заденет, я найду что ей ответить, — вот увидишь. А ты, Алан, — крикнул он мне, — не обращай на нее внимания!

У меня началось местное заражение в бедре — там, где гипс врезался в тело, — и через несколько дней я почувствовал, что где-то на ноге лопнул нарыв. Тупая боль в пальце в этот день была почти невыносима, а тут еще прибавилось жжение в бедре... Я начал всхлипывать беспомощно и устало. А потом заметил, что Ангус с беспокойством смотрит на меня. Я приподнялся на локте и взглянул на него, и в моем взгляде он, должно быть, прочел овладевшее мной отчаяние, потому что на его лице внезапно появилось выражение тревоги.

— Мистер Макдональд, — сказал я дрожащим голосом — не могу я больше терпеть эту боль. Пусть перестанет болеть. Кажется, мне крышка...

Он медленно закрыл книгу, которую читал, и сел, поглядывая в сторону двери.

— Куда девались эти проклятые сиделки? — крикнул он Мику диким голосом. — Ты можешь ходить. Пойди и позови их. Пошли за ними Папашу. Он их разыщет. Малыш достаточно натерпелся. Хотел бы я знать, что сказал бы его старик, будь он здесь. Папаша, поезжай и приведи кого-нибудь из сестер. Скажи, я звал, да поживей.

Вскоре пришла одна из сиделок и вопросительно посмотрела на Ангуса:

— Что случилось? Он кивнул в мою сторону:

— Взгляните на него. Ему плохо.

Она приподняла одеяло, посмотрела на простыню, снова опустила его и, не говоря ни слова, выбежала из палаты.

Помню, как вокруг меня стояли доктор, старшая сестра, сиделки, помню, как доктор пилил и рубил гипс на моей ноге, но мне было невыносимо жарко, перед глазами все плыло, и как пришли отец с матерью, я не помню. Я запомнил, правда, что отец принес мне перья попугая — но это уже было неделю спустя.

Глава 7

Когда я снова стал различать палату и ее обитателей, на кровати Ангуса лежал незнакомый человек. Пока я неделю метался в бреду, Ангуса и Мика выписали. Ангус оставил мне три яйца и полбанки пикулей, а Мик попросил сиделку Конрад передать мне, когда я приду в себя, банку с лесным медом.

Мне их очень недоставало. Казалось, сама палата стала иной. Люди, которые теперь лежали на белых постелях, были слишком больны или подавлены непривычной обстановкой, чтобы разговаривать друг с другом; и они еще не научились делиться яйцами.

Папаша стал совсем мрачным.

— Здесь все переменялось, — говорил он мне. — Помню, в этой палате велись разговоры, каких я никогда раньше и не слыхивал. Умнейшие парни собирались здесь. А сейчас — взгляни на эту мелюзгу — двух грошей не дашь за них всех, вместе взятых. И всего-то животы у них болят, а глаза заводят, будто чахоточные. Все только и думают о своих болячках, а тебя и слушать не хотят, когда вздумаешь пожаловаться на свои горести. Если бы я не знал, что в любую минуту могу помереть, то попросил бы старшую сестру отпустить меня отсюда. А она прекрасная женщина, доложу я тебе.

Человек, лежавший на кровати Ангуса, был очень высокого роста, и в первый день, когда он появился в палате, сиделка Конрад, поправляя его постель, воскликнула:

— Боже мой! Ну и высоченный же вы!

Ему это доставило удовольствие. Он улыбнулся со смущенной гордостью и оглянулся вокруг, чтобы убедиться, все ли мы слышали, затем улегся поудобней, вытянул свои длинные ноги так, что закутанные одеялом ступни высунулись между прутьев спинки, и положил руки под голову.

— Вы умеете ездить верхом? — спросил я, почувствовав уважение к его огромному росту.

Он окинул меня беглым взглядом, увидел, что перед ним ребенок, оставил мой вопрос без ответа и продолжал обозревать палату. Я испугался, не счел ли он меня нахалом, но затем, возмущенный его поведением, убедил себя, что мне безразлично, какого он обо мне мнения.

Зато он часто заговаривал с сиделкой Конрад.

— Вы славная, — говорил он ей.

Она ждала продолжения, но он, казалось, не был способен что-нибудь

добавить. Когда она считала пульс, он порой старался схватить ее за руку, а когда она отдергивала ее, он говорил: «Вы славная». Когда она приближалась к его кровати, ей приходилось быть на стороже, — он так и норовил хлопнуть ее по спине, приговаривая: «Вы славная».

Как-то раз она ему резко сказала:

— Оставьте меня в покое!

— Вы славная, — повторил он.

— И эта ваша присказка не меняет дела, — добавила она, взглянув на него холодным понимающим взглядом.

Я никак не мог его раскусить. Никому, кроме нее, он никогда не говорил: «Вы славная».

Однажды он весь день сидел с нахмуренным видом и что-то писал на листке бумаги, а вечером, когда сиделка Конрад поправляла его постель, сказал:

— Я написал о вас стихотворение. Она посмотрела на него удивленно и даже подозрительно.

— Вы сочиняете стихи? — спросила она, прервав работу.

— Да, — сказал он. — У меня это легко получается. Могу писать о чем угодно.

Он передал ей листок. Она прочла стихотворение, и на ее лице засияла довольная улыбка.

— Это на самом деле хорошо, — сказала она. — Да, да, очень хорошо. Где вы научились писать стихи?

Она перевернула листок, поглядела на обратную сторону, а потом прочла стихотворение еще раз.

— Можно мне оставить его у себя? Это очень хорошие стихи.

— Ерунда. — Он пренебрежительно махнул рукой. — Завтра я вам напишу другие. Возьмите их себе. Могу сочинять в любое время. Даже думать не приходится. Для меня это пара пустиков.

Сиделка Конрад принялась за мою постель, положив стихи ко мне на тумбочку.

— Можешь прочитать, — сказала она, заметив, что я смотрю на листок.

Она дала мне его, и я медленно, с трудом прочитал:

Сиделке Конрад
Сиделка Конрад нам стелет кровать,
И никак не может она понять,
Почему мы считаем ее в больнице

Самой лучшей и милой девицей.
Она красивей сиделок других,
Она заботится о больных,
Поможет она, коль стряется беда,
И мы ее любим все и всегда.^[3]

Закончив чтение, я не знал, что сказать. Все, что там говорилось о сиделке Конрад, мне нравилось, только не нравилось, что автором был он. Я решил, что стихотворение написано хорошо, раз в нем есть рифма; ведь в школах заставляют учить стихи, а наш учитель всегда говорил о том, что стихи прекрасны.

— Хорошо, — грустно сказал я.

Мне было жаль, что их написал не я. Мне казалось теперь, что лошадь и двуколка — ничто в сравнении с умением писать стихи.

Меня охватила усталость, и мне захотелось очутиться дома, где никто не пишет стихов, где я мог вскочить на свою лошадку Кэтти и объехать рысью вокруг двора под ободряющие возгласы отца: «Сиди прямо! Руки ниже! Голову выше! Подбери поводья так, чтобы чувствовать каждое ее движение. Ноги вперед! Правильно. Так, хорошо! Еще прямей. Молодец!»

Если бы только сиделка Конрад могла видеть меня верхом на Кэтти!

Глава 8

Моя нога от колена до лодыжки находилась теперь в лубке, а бедра и ступню освободили от гипса. Боль прошла, и мне уже больше не хотелось умереть.

Я слышал, как доктор Робертсон говорил старшей сестре:

— Кость срастается медленно. Кровообращение в этой ноге вялое.

В другой раз он ей сказал:

— Мальчик бледен... Ему надо бывать на солнце. Вывозите его каждый день в кресле на воздух... Хочешь покататься в кресле? — спросил он меня.

Я онемел от радости.

После обеда сестра поставила у моей кровати кресло на колесах. Увидев выражение моего лица, она засмеялась.

— Теперь можешь кататься наперегонки с Папашей, — сказала она. Приподымись, я обхвачу тебя рукой.

Она перенесла меня в кресло и осторожно опустила мои ноги, пока они не коснулись сплетенной из камыша нижней части кресла. Однако до подставки, выдвинутой в виде полочки, они не доставали и беспомощно болтались.

Я смотрел на подставку, огорченный тем, что мои ноги оказались слишком короткими. Ведь это будет мешать мне во время колясочных гонок. Однако я утешился, решив, что отец изготовит подставку, которую я смогу достать ногами, — а руки у меня сильные.

Своими руками я гордился. Я схватился за деревянный обод колеса, но тут у меня закружилась голова, и я дал сестре вывезти меня через дверь палаты в коридор, а оттуда — наружу, в лучезарный мир.

Когда мы выезжали из дверей, ведущих в сад, свежий, прозрачный воздух и солнечный свет обрушились на меня и затопили могучим потоком. Я выпрямился в кресле, встречая эту голубизну, этот блеск и этот душистый ветер, словно ловец жемчуга, только что вынырнувший из морских глубин.

Ведь целых три месяца я ни разу не видел облаков и не чувствовал прикосновения солнечных лучей. Теперь все это вернулось ко мне, родившись заново, став еще лучше, сверкая и сияя, обогатившись новыми качествами, которых раньше я не замечал.

Сестра оставила меня на солнышке подле молодых дубков, и, хотя ветра не было, я услышал, как они шепчутся между собой, — отец рассказывал, что они делают это всегда.

Я никак не мог понять, что произошло с миром, пока я болел, почему он так изменился. Я смотрел на собаку, трусившую по улице, по ту сторону высокой решетки. Никогда еще не видел я такой замечательной собаки; как мне хотелось ее погладить, как приятно было бы повозиться с ней. Вот подал голос серый дрозд — это был подарок мне. Я смотрел на песок под колесами кресла. Каждое зернышко имело свой цвет, и тут их лежали миллионы, образуя причудливые холмики и овражки. Иные песчинки затерялись в траве, окаймлявшей дорожку, и над ними нежно склонялись стебельки травы.

До меня доносились крики игравших детей и цоканье конских копыт. Залаяла собака, и над притихшими домами послышался гудок проходившего вдалеке поезда.

Листва дубков свисала, словно нерасчесанные волосы, и сквозь нее я мог видеть небо. Листья эвкалиптов блестели, отбрасывая солнечные зайчики; моим глазам, отвыкшим от такого яркого света, было больно смотреть на них.

Я опустил голову, закрыл глаза, и солнце обвилось вокруг меня, словно чьи-то руки.

Через некоторое время я поднял голову и принялся за опыты над креслом; я брался за обод, как это делал Папаша, и пытался вращать колеса, но песок был слишком глубокий, а обочина дорожки была выложена камнями.

Тогда меня заинтересовало другое — на какое расстояние сумею я плюнуть. Я знал мальчика, который умел плевать через дорогу, но у него не было переднего зуба. Я ощупал свои зубы — ни один из них даже не шатался.

Я внимательно осмотрел дубки и решил, что могу взобраться на все, за исключением одного, который, впрочем, не стоил того, чтобы на него взбирались.

Вскоре на улице показался мальчик. Проходя мимо решетки, он колотил палкой по прутьям; следом за ним шла коричневая собака. Этого мальчика я знал, его звали Джордж; каждый приемный день он приходил со своей матерью в больницу. Он часто дарил мне разные вещи: детские журналы, картинки от папиросных коробок, иногда леденцы. Он мне нравился, потому что умел хорошо охотиться на кроликов и имел хорька. Кроме того, он был добрый.

— Я бы принес тебе много всякой всячины, — как-то сказал он, — но мне не разрешают.

Его собаку звали Снайп, и она была так мала, что пролезала в кроличью нору, но, по словам Джорджа, она могла выдержать схватку с любым противником, если только ее не одолевали хитростью.

— Кто хочет охотиться на кроликов так, чтобы был толк, тот должен иметь хорошую собаку, — таково было одно из убеждений Джорджа.

Я соглашался с ним, но думал, что неплохо иметь борзую, если мать разрешит ее держать.

— Это соответствовало представлениям Джорджа о борзых. Он с мрачным видом сообщил мне:

— Женщины не любят борзых.

Его наблюдения совпадали с моими.

Джорджа я считал очень умным и рассказал о нем матери. — Он хороший мальчик, — сказала она.

На этот счет у меня были свои сомнения, но, во всяком случае, я надеялся, что он не слишком уж хороший.

— Я не люблю неженку, а ты? — спросил я его потом.

Это была проверка.

— Нет, черт возьми, — ответил он.

— Ответ был вполне удовлетворительный, и я заключил, что он не такой уж хороший, как думала моя мать.

Увидев, что он идет по улице, я страшно обрадовался. — Как дела, Джордж? — крикнул я,

— Недурно, — ответил он, — но мать сказала, чтобы я шел прямо домой и нигде не задерживался.

— А-а, — протянул я с огорчением.

— У меня есть леденцы, — сообщил он мне таким тоном, словно речь шла о самых обыденных вещах.

— Какие?

— «Лондонская смесь».

— Это, по-моему, самые лучшие: А есть там такие круглые, знаешь, обсыпанные?

— Нет, — сказал Джордж, — такие я уже съел.

— Да неужели? — прошептал я, неожиданно очень расстроившись.

— Подойди к забору, и я дам тебе все, что осталось, — предложил он. — Я больше не хочу. У нас дома их полно.

От такого предложения я бы никогда не подумал отказаться, однако после бесплодной попытки привстать я сказал ему:

— Я еще не могу ходить. Меня все еще лечат. Подошел бы, но нога в лубке.

— Хорошо, тогда я брошу их тебе через забор, — заявил он.

— Спасибо, Джордж.

Джордж отошел к дорожке, чтобы иметь место для разбега. Я смотрел на него с одобрением. Такие приготовления, по всем правилам, несомненно, доказывали, что Джордж отлично постиг искусство метания.

Он измерил взглядом дистанцию, расправил плечи.

— Есть! Лови! — крикнул он.

Он начал разбег изящным подскоком — сразу было видно мастера — сделал три крупных шага и метнул кулек. Любая девчонка метнула бы лучше.

— Я поскользнулся, — объяснил Джордж раздраженно, — моя проклятая нога поскользнулась.

Я не заметил, чтобы Джордж поскользнулся, но не могло быть сомнения, что он поскользнулся, и притом неудачно.

Я смотрел на кулек с леденцами, лежащий в траве в восьми ярдах от меня.

— Послушай, — сказал я, — не мог бы ты зайти сюда и подать их

мне?

— Нет, — ответил Джордж, — мать дожидается сала, чтобы варить обед. Она велела мне нигде не задерживаться. А леденцы пусть лежат. Завтра я тебе их достану. Никто их не тронет. Ей-ей, я должен идти.

— Ладно, — сказал я, покорившись судьбе, — ничего не поделаешь.

— Что ж, я пошел! — крикнул Джордж. — Завтра увидимся. Пока.

— Пока, Джордж, — ответил я рассеянно.

Я смотрел на леденцы и старался придумать, как до них добраться.

Леденцы доставляли мне величайшее наслаждение. Отец всегда брал меня с собой в лавку, когда производил расчет за месяц.

Лавочник, вручая отцу расписку, обращался ко мне:

— А теперь, молодой человек, чем тебя угостить? Я знаю — леденцами. Ну-с, пошарим по полкам.

Он свертывал кулечек из белой бумаги, наполнял его тянучками и леденцами и давал мне, после чего я произносил:

— Спасибо, мистер Симмонс.

Раньше чем съесть конфеты или посмотреть на них, я любил подержать их в руке. Ощущать под рукой их твердые очертания, зная, что каждая маленькая выпуклость — это конфета, чувствовать их тяжесть на своей руке — все это обещало так много, что я хотел сначала насладиться предвкушением. Придя домой, я всегда делился конфетами с Мэри.

Леденцы были очень вкусными, и, когда я получал свою долю от лавочника, мне разрешали есть их, пока не опустеет кулек. Это немного снижало их ценность, так как тем самым мне словно давалось понять, что взрослые ими не особенно дорожат.

Сласти были такие дорогие, что мне их давали только попробовать. Однажды отец купил трехпенсовую плитку молочного шоколада, и мать дала Мэри и мне по маленькому квадратику. Шоколад таял во рту, и вкус его был так восхитителен, что я часто вспоминал о том, как я ел шоколад, словно о каком-то важном событии.

— Я всегда готов променять котлеты на молочный шоколад, — сказал я однажды матери, нагнувшейся над сковородкой.

— Когда-нибудь я куплю тебе целую плитку, — обещала она.

Случалось, что какой-нибудь проезжий давал мне пенни за то, что я держал его лошадь, и тогда я стремглав бежал к булочной, где продавались леденцы, и подолгу простаивал у окон, где были выставлены все эти «ромовые шарики», «молочные трубочки», «серебряные палочки», «лепешки от кашля», «шербетные», «лакричные», «анисовые» и «снежинки». Я не замечал полумертвых мух, лежавших на спине между

пакетиками и пачечками. Они слабо шевелили лапками и изредка жужжали. Я видел только конфеты. Я мог простоять целый час, так и не решив, что купить.

В тех редких случаях, когда какой-нибудь скваттер давал мне за ту же услугу трехпенсовик, меня тотчас же окружали школьные товарищи, возбужденно крича:

— У Алана есть трехпенсовик! Затем следовал важный вопрос:

— Ты его сразу истратишь или оставишь и на завтра?

От моего ответа зависело, какой будет доля каждого из мальчиков в моих приобретениях, и они ожидали решения с должной сдержанностью.

В ответ я неизменно объявлял:

— Я потрачу все целиком.

Это решение всегда вызывало крики одобрения; затем следовала потасовка, в результате которой решалось, кто пойдет рядом со мной, кто впереди и кто позади.

— Я с тобой вожусь, Алан. Ты знаешь меня, Алан...

— Я дал тебе вчера серединку яблока...

— Я пришел первым...

— Пустите меня...

— Я всегда дружил с Аланом. Правда, Алан?

В нашей школе считалось, что тот, кто за тебя держится, имеет на тебя определенное право или, во всяком случае, право на твое внимание. Я шел поэтому в центре тесной кучки, и все ребята крепко держались за меня. А я крепко держал трехпенсовик. Остановливались мы у самой витрины, и тут меня засыпали советами:

— Помни, Алан, на пенни дают восемь анисовых лепешек. Сколько нас здесь, Сэм? Нас восемь, Алан.

— Лакричные сосутся дольше всех.

— Лучше шербетных нет. Из них можно сделать питье...

— Пустите меня. Я первый встал рядом с ним...

— Подумать только — целый трехпенсовик!..

— Алан, бери мою рогатку, когда захочешь!

Я смотрел на кулек с леденцами, лежавший на траве. Мне ни на минуту не приходила в голову мысль о том, что сам я достать их не могу; ведь леденцы мои. Их дали мне. Провалились мои ноги! Достану конфеты — и все!

Кресло мое находилось на краю дорожки, огибавшей лужайку, где лежали леденцы. Я схватил ручки кресла и стал раскачивать его из стороны в сторону, пока оно не накренилось. Еще один толчок, и оно опрокинулось,

выбросив меня на траву лицом вниз. Нога в лубке стукнулась о камень. От внезапной боли я что-то сердито забормотал и стал вырывать травинки. Странно, но в бледных корнях травы, прихвативших в своих объятиях немного земли, было что-то успокоительное, умиротворяющее.

Через мгновение, подтягиваясь на руках, я стал подползать к конфетам, оставляя за собой по мере продвижения подушку, плед, журнал.

Когда я дотащился до бумажного кулечка, я схватил его и улыбнулся.

Однажды отец велел мне накинуть на одну из веток веревку, и, когда я залез на дерево, отец снизу закричал в порыве восторга:

— Сделано, черт возьми! Ты добился своего!

И теперь, развертывая кулек, я мысленно говорил себе: «Сделано! Добился!» После минутного, весьма приятного знакомства, с содержанием кулька я извлек леденец с надписью; на нем были слова: «Я люблю тебя».

Я с наслаждением стал сосать его, каждые несколько секунд вынимая изо рта, чтобы увидеть, можно ли еще прочитать слова. Постепенно они все больше тускнели, превращались в какие-то неясные значки и наконец исчезли совсем. В руке моей был маленький розовый кружок. Я лежал на спине, смотрел в небо сквозь ветки дуба и грыз леденец.

Я был очень счастлив.

Глава 9

Замешательство, охватившее сиделок, когда они нашли меня лежащим на траве, немало меня удивило. Я не мог понять, почему они вызвали старшую сестру и, столпившись у моей кровати, принялись допрашивать меня со смешанным чувством озабоченности и гнева.

Я повторял им без конца одно и то же;

— Я опрокинул кресло, чтобы достать леденцы. А на настойчивый вопрос старшей сестры: «Но зачем? Почему ты не позвал сиделку?» — ответил:

— Хотел достать сам.

— Не могу тебя понять, — произнесла она с недовольным видом.

Мне было невдомек — что же тут непонятного. Я знал, это отец понял бы меня. Когда я рассказал ему об этом, он спросил:

— А ты не мог как-нибудь выбраться из кресла, не опрокидывая его? Я ответил:

— Нет, ведь ноги-то меня не слушались, понимаешь?

— Понимаю, — сказал он и добавил: — Как бы то ни было, леденцы

ты достал, и ладно. Я тоже не стал бы звать сиделку. Конечно, она подала бы их тебе, но ведь это было бы совсем другое дело.

— Да, совсем другое дело, — сказал я; в эту минуту я любил отца сильнее, чем когда бы то ни было.

— Но смотри, в следующий раз не ушибайся, — предупредил он, — будь осторожней. Не надо выбрасываться из кресла ради леденцов — они того не стоят. Другое дело, если случай будет серьезный — пожар или что-нибудь в этом роде. А леденцов я бы тебе сам купил; но на этой неделе у меня с деньгами негусто.

— А я и не хочу на этой неделе, — сказал, я, чтобы его утешить.

После этого происшествия в течение нескольких недель, когда я сидел в кресле на веранде, за мной тщательно присматривали. Однажды появился доктор. Он нес пару костылей.

— Вот твои передние ноги, — сказал он мне. — Как, по-твоему, сумеешь ты на них ходить? Давай-ка попробуем.

— Они на самом деле, взаправду мои? — спросил я.

— Да, — ответил он. — На самом деле и взаправду. Это было в саду; я сидел в кресле. Он подкатил его к лужайке под дубками.

— Вот славное местечко. Здесь мы и попробуем.

Старшая сестра и кое-кто из сиделок, вышедшие посмотреть мою первую прогулку на костылях, столпились вокруг нас. Доктор взял меня под мышки и приподнял с кресла, держа перед собой в вертикальном положении.

Старшая сестра, которой он передал костыли, поставила их мне под мышки, а он опускал меня все ниже и ниже, пока я не навалился на них всей тяжестью.

— Ну как, хорошо? — спросил он.

— Нет, — ответил я. Неожиданно я почувствовал себя очень неуверенно. Нет, пока еще не хорошо. Но сейчас будет хорошо.

Доктор давал мне наставления:

— Не волнуйся, не пробуй пока ходить. Надо немного постоять. Я тебя держу. Ты не упадешь.

Моя правая нога, которую я называл своей «плохой» ногой, была совершенно парализована и от самого бедра свисала плетью, бесполезная, обезображенная, изуродованная. Левую ногу я называл «хорошей» ногой. Она была лишь частично парализована и могла выдержать тяжесть моего тела. Целыми неделями я проверял ее, сидя на краю кровати.

Искривление позвоночника перекосило мою спину влево, но, когда я опирался на костыли, спина выпрямлялась и все тело удлинялось, так что

стоя я казался выше, чем сидя.

Мышцы живота тоже были частично парализованы, но грудь и руки оставались незатронутыми. В последующие годы я перестал обращать внимание на свои ноги. Они вызывали у меня озлобление, хотя иногда мне начинало казаться, что они живут обособленной, горькой жизнью, и тогда я испытывал к ним жалость. Руками же и грудью я гордился, и со временем они развились вне всяких пропорций с остальными частями тела.

С минуту я постоял в неуверенности, глядя куда-то вперед, — туда, где виднелась голая полоска земли, затерявшаяся в траве.

Я решил непременно добраться до нее и выжидал, не зная, какие именно мышцы нужно призвать на помощь. Я чувствовал, что костыли впиваются мне в тело, и понимал, что, если я хочу пойти, надо выдвинуть их вперед и на минуту переместить всю тяжесть моего тела на «хорошую» ногу.

Доктор отвел руки, но был наготове, чтобы подхватить меня, если я начну падать.

Я приподнял костыли и тяжело выбросил их вперед; плечи мои подпрыгнули при внезапном толчке, когда всем весом я снова налег на костыли. Затем я выбросил вперед свои ноги, — правая волочилась по земле, поднимая пыль, словно сломанное крыло. Я остановился, тяжело дыша, не спуская глаз с полоски земли перед собой.

— Хорошо! — воскликнул доктор, когда я сделал этот первый шаг. — А теперь еще...

Снова я повторил те же движения, и так три раза, пока, изнемогая от боли, не очутился на заветной полоске. Я дошел.

— На сегодня довольно. Садись-ка снова в кресло, — сказал доктор, завтра попробуем еще.

Через несколько недель я уже мог ходить по саду, и, хотя мне порой случалось падать, я поверил в себя и стал даже практиковаться в прыжках с веранды, проверяя, на какое расстояние от проведенной по дорожке черты могу я прыгнуть.

Когда мне сказали, что меня выписывают, что завтра за мной приедет мама, я не почувствовал того волнения, которое, как мне казалось, должно было вызвать это известие. Больница постепенно сделалась фоном, который неизбежно сопутствовал всем моим мыслям и действиям. Жизнь моя вошла здесь в определенное русло, и я смутно понимал, что, выйдя из больницы, утрачу то чувство уверенности и спокойствия, которое я в ней приобрел. Расставание с больницей меня немного пугало, но в то же время мне очень хотелось увидеть, куда ведет улица, проходившая мимо

больничного здания, и что делается за холмом, где пыхтели маневрировавшие паровозы, лязгали буфера вагонов н взад и вперед сновали экипажи с людьми и чемоданами. И я хотел снова увидеть, как отец объезжает лошадей.

К тому времени, когда за мной пришла мать, я уже был одет, сидел на краю постели и смотрел на пустое кресло, в котором мне уже больше не придется кататься. У отца на покупку такого кресла не хватило денег, но он соорудил из старой детской коляски длинную тележку на трех колесах, н в ней мать собиралась довезти меня до трактира, где отец оставил нашу повозку, пока сам отводил подковать лошадей.

Когда сиделка Конрад поцеловала меня на прощание, мне захотелось расплакаться, но я удержался и только подарил ей все оставшиеся яйца и несколько выпусков газеты «Боевой клич», а также перья попугая, которые мне принес отец. Больше у меня ничего не было, но она сказала, что и этого довольно.

Старшая сестра погладила меня по голове и сказала матери, что я храбрый мальчик и как это удачно вышло, что я стал калекой еще маленьким: мне будет нетрудно привыкнуть к жизни на костылях.

— Дети так легко ко всему приспосабливаются, — уверяла она мать.

Мать не сводила с меня глаз, и видно было, что она слушает сестру с глубокой грустью; она ей ничего не сказала в ответ, и это показалось мне невежливым. Сиделки помахали мне на прощание, а Папаша пожал мне руку и сказал, что я его никогда больше не увижу: он может умереть в любую минуту.

Укутанный в плед, я лежал в своей коляске, сжимая в руках маленького глиняного льва, подаренного мне сиделкой Конрад.

Мать покатила меня вдоль улицы по тротуару, на холм. За ним вовсе не было тех чудесных вещей, какие, мне казалось, должны были там таиться. Дома ничем не отличались от других домов, а станция была простым сараем.

Мать спустила коляску с обочины в канаву и уже втащила ее на другую сторону, когда одно из колес соскользнуло с края мостовой, коляска опрокинулась, и я упал в канаву.

Я не видел, как мать пыталась приподнять придавившую меня коляску, и не слышал ее тревожных вопросов, не ушибся ли я. Я был поглощен поисками глиняного льва, и скоро нашел его под пледом, но, как я и опасался, уже без головы.

На крик матери подбежал какой-то мужчина.

— Помогите мне поднять мальчика, — сказала она.

— Что с ним случилось? — воскликнул тот, быстро подняв коляску. — Что с мальчонкой?

— Я опрокинула коляску. Осторожней!.. Не сделайте ему больно: он хромой!

Это восклицание матери заставило меня опомниться. Слово «хромой» в моем представлении могло относиться только к хромым лошадям, оно означало полную бесполезность.

Лежа в канаве, я приподнялся на локте и посмотрел на мать с изумлением.

— Хромой, мама? — воскликнул я возмущенно. — Почему ты говоришь, что я хромой?..

Глава 10

Слово «калека» в моем представлении можно было отнести к другим людям, но никак не ко мне. Однако мне все чаще приходилось слышать, как меня называют калекой, и я в конце концов вынужден был признать, что подхожу под это определение. Но при этом я твердо верил, что, хотя другим людям такое состояние причиняет неудобства и огорчения, мне оно нипочем.

Ребенок-калека не понимает, какой помехой могут стать для него бездействующие ноги. Конечно, они часто причиняют неудобства, вызывают раздражение, но он убежден, что они никогда не помешают ему сделать то, что он захочет, или стать тем, кем он пожелает. Он начинает видеть в них помеху, лишь если ему говорят об этом.

Для детей нет никакой разницы между хромым и здоровым человеком. Они могут попросить мальчика на костылях сбегать по их поручению и ворчат, если он сделал это недостаточно быстро.

В детстве бездействующая, ставшая бесполезной нога не вызывает стыда; лишь когда учишься распознавать взгляды людей, не умеющих скрывать свои чувства, появляется желание избегать их общества. И — странная вещь — такие откровенно презрительные взгляды исходят только от людей со слабым телом, всегда помнящих о собственной физической неполноценности. Сильные и здоровые люди не сторонятся калеки — его состояние слишком далеко от их собственного. Только те, кому грозит болезнь, содрогаются, видя ее у других.

О парализованной ноге, о скрюченной руке дети говорят свободно и без стеснения:

— Посмотри, какая чудная у Алана нога! Он может перекидывать ее через голову.

— Почему у тебя такая нога?

Мать мальчика, бесцеремонно заявившего: «Это Алан, мама, у него вся нога скрючена», — спешит в смущении оборвать его, забыв о том, что перед ней два маленьких счастливица: ее сын, гордый тем, что может продемонстрировать нечто очень интересное, и Алан, которого радует, что он может таким образом развлечь окружающих,

Поврежденная рука или нога нередко повышает авторитет ее обладателя и ставит его порой в привилегированное положение.

Во время игры в цирк я соглашался брать на себя роль осла («потому что у тебя четыре ноги»), требовавшую умения брыкаться и лягаться. Я радовался, что у меня так хорошо получается, и гордился своими «четырьмя ногами».

Присущее детям чувство юмора не стеснено, как у взрослых, понятиями такта и хорошего вкуса. Дети часто смеялись, видя меня на костылях, а когда мне случалось падать, раздражались веселыми возгласами. Я присоединялся к их веселью: мне тоже казалось, что упасть вместе с костылями смешно.

Когда мы перелезали через забор, меня нередко подсаживали, и если те, кто подхватывал меня с другой стороны, падали, это казалось смешным не только моим помощникам, но и мне самому.

Я был счастлив. Я не чувствовал боли и мог ходить. Но взрослые, навещавшие нас после моего возвращения, вовсе не склонны были считать меня счастливым. Они называли это ощущение счастья мужеством. Часто взрослые откровенно говорят о детях в их присутствии, словно дети не способны понять то, что к ним относится.

— И ведь, несмотря ни на что, он счастлив, миссис Маршалл, — говорили они таким тоном, точно это обстоятельство очень их удивляло.

«Ну и что здесь такого?» — думал я. По их мнению, мне не полагалось чувствовать себя счастливым, и это вызывало у меня смутную тревогу: их намеки означали, что на меня надвигается какая-то неведомая беда. В конце концов я решил, что им кажется, будто моя нога болит.

— Нога у меня не болит, — весело говорил я тем, кто не скрывал своего изумления при виде улыбки на моем лице. — Смотрите! — И я брал свою «плохую» ногу руками и клал ее себе на голову.

Некоторые при виде этого вздрагивали — и мое недоумение росло. Я привык к своим ногам и не считал их ни странными, ни, тем более, отвратительными.

Родители, учившие своих детей обращаться со мной «поласковой» или бранившие их за «бесчувственность», только все портили. Кое-кто из ребят, которых родители убедили, что мне надо «помогать», иногда начинал за меня заступаться: «Не толкай его! Ты же ушибешь его ногу!»

Но я хотел, чтобы меня толкали, и, хотя характер у меня был покладистый, я скоро стал забиякой, так как не желал мириться с тем, что считал неприятным и унижительным снисхождением.

У меня был нормальный ум, я воспринимал жизнь, как это свойственно нормальному ребенку, и мои изуродованные ноги не могли этого изменить. Но со мной обращались, как с существом, отличным от моих товарищей по играм, — и во мне развилось противодействие этим влияниям извне, которые могли бы искалечить мою душу.

Мироощущение ребенка-калеки такое же, как у здорового ребенка. Дети, ковыляющие на костылях, оступаясь и падая, дети, которые машинально пускают в ход руки, чтобы с их помощью пошевелить парализованной ногой, вовсе не предаются отчаянию и горю и отнюдь не размышляют о трудностях передвижения, — нет, они думают только о том, чтобы им добраться туда, куда им нужно, точно так же как и здоровые дети, бегающие по лужайке или идущие по улице.

Ребенок не страдает от того, что он калека, — страдания выпадают на долю тех взрослых, которые смотрят на него.

После первых месяцев пребывания дома я уже смутно понимал все это, правда, не рассудком, а чувством.

После просторной палаты я должен был привыкать жить в доме, который вдруг показался мне тесным, как коробка.

Когда отец снял мою коляску с повозки и вкатил меня в кухню; я удивился: такой она стала маленькой. Стол, покрытый плюшевой скатертью с узорами из роз, теперь, казалось, занимал ее всю, так что для моей коляски словно не оставалось места. Перед плитой сидела чужая кошка и вылизывала шерсть.

— Чья это кошка? — спросил я, озадаченный тем, что в этой хорошо знакомой мне комнате оказалась кошка, которую я никогда не видел.

— Это котенок Чернушки, — объяснила мне Мэри. — Помнишь, у нее родились котята еще до того, как тебя отвезли в больницу.

Мэри спешила рассказать мне обо всех важных событиях, случившихся за это время.

— У Мэг родилось пятеро щенят, и маленького коричневого мы назвали Аланом. Отец носил его к тебе в больницу.

Мэри была возбуждена моим приездом и уже успела спросить у мамы,

сможет ли она вывозить меня в коляске на прогулку. Она была старше меня, очень отзывчива и рассудительна. Обычно она, когда не помогала матери, сидела согнувшись над книгой, но стоило ей заметить, что где-нибудь мучают животное, как она, вся кипя от негодования, стремглав бросалась на его защиту; такие спасательные экспедиции отнимали у нее немало времени. Однажды, увидев, что какой-то всадник, привстав в седле, бьет кнутом ослабевшего теленка, у которого не было сил идти быстро, Мэри влезла на забор и принялась сквозь слезы ругать его. Когда теленок (его бока были закапаны слюной) упал, Мэри перебежала через дорогу и стала над ним со сжатыми кулаками. Всадник не посмел больше ударить теленка.

У Мэри были черные волосы и карие глаза; в любую минуту она была готова сорваться с места, чтобы кому-нибудь помочь. Она заявляла, что станет миссионером и будет помогать бедным чернокожим. Иногда она решала отправиться помогать китайским язычникам, но ее немного пугало, что она может стать «жертвой резни».

В «Вестнике» иногда печатались картинки, изображавшие, как дикари варят миссионеров в горшках, и я сказал ей, что лучше стать жертвой резни, чем быть сваренной заживо; я был убежден в этом главным образом потому, что не знал значения слов «жертва резни».

Самой старшей из нас была Джейн; она кормила кур и ухаживала за тремя ягнятами, которых ей подарил гуртовщик, так как они были слишком слабы, чтобы продолжать путь. Она была высокого роста и ходила прямо, с поднятой вверх головой. Джейн помогала миссис Мулвэни, жене булочника, присматривать за детьми и получала за это пять шиллингов; часть денег она отдавала маме, а на остальные могла купить себе что угодно.

Она уже начала носить длинные юбки и делать прическу и щеголяла в высоких коричневых ботинках, доходивших ей чуть ли не до колен. Миссис Мулвэни находила их изящными, и я был того же мнения.

Когда Джейн брала меня с собой гулять, она всегда говорила:

— Будь вежливым мальчиком и сними шляпу, если мы встретим миссис Мулвэни.

Я снимал шляпу, когда помнил об этом, но чаще я забывал.

Когда я вернулся из больницы, Джейн была у миссис Мулвэни, так что Мэри одна рассказала мне все новости: и о канарейках, и о какаду Пэте, и о моем ручном опоссуме, и о большом королевском попугае, все еще не отрастившем себе хвост. Она ежедневно задавала им корм, не пропустив ни разу, и для воды канарейкам раздобыла две новые банки из-под лососины.

Надо только почистить клетку Пэта. Опоссум все еще царапается, когда его берут на руки, но не очень.

Я сидел в своей коляске (костыли мать спрятала, потому что мне разрешили пользоваться ими только по часу в день) и смотрел, как мать стелила белую скатерть и накрывала на стол. Мэри принесла дрова из ящика на задней веранде, где прогнившие доски приглушали звук ее быстрых шагов.

Теперь, когда я был дома, больница сразу стала чем-то очень далеким, и все, что со мной там произошло, теряло реальность и оставалось в памяти только как рассказ о прошлом. В мою жизнь опять вступали привычные мелочи домашней жизни, обретая новую яркость и силу. Даже крючки коричневого кухонного стола, из которого мать доставала чашки, казались мне какими-то необычными, словно я впервые видел их блестящие изгибы.

На шкафчике-холодильнике, к которому придвинули мою коляску, стояла лампа с чугунным основанием, решетчатой колонкой и розовым абажуром. Вечером лампу снимали, зажигали и ставили в центре стола — и под ней на скатерти появлялся яркий кружок света.

В оцинкованных стенках шкафчика были отверстия, и через них доносился запах хранившихся там продуктов; на нем лежала «липучка» — продолговатый плотный лист бумаги, покрытый липкой коричневой жидкостью. Бумага была густо усеяна мухами, многие из них еще барахтались и жужжали, отчаянно трепеща крыльшками. Летом дом осаждали мухи, и за едой приходилось все время отгонять их рукой. Отец всегда накрывал свой чай блюдцем,

— Не знаю, — говаривал он, — может, другие и могут пить чай после того, как в нем побывала муха; я на это не способен.

Большой закопченный чайник с носиком, зияющим, как зев готовой ужалить змеи, кипел на плите; на полке, накрытой дорожкой из выцветшей коричневой бязи, красовались чайница и жестянка с кофе, на которой был нарисован бородатый турок, а над ними висела гравюра, изображавшая испуганных лошадей. Мне было приятно снова ее увидеть.

На стене, у которой я лежал, висела большая картина: мальчик, пускающий мыльные пузыри (приложение к рождественскому «Ежегоднику Пирса»), Подняв голову, я посмотрел на него с новым интересом: за время моего отсутствия неприязнь, которую я питал к его старомодному одеянию и кудрям, как у девочки, исчезла.

На гвозде над картиной висела маленькая голубая бархатная подушечка, утыканная булавами. Она была набита опилками, и, надавив

на нее, можно было их прощупать.

На другом гвозде, у двери, которая вела на заднюю веранду, висели старые календари, а поверх них последний рождественский подарок лавочника картонный карманчик для писем; когда его нам дали, он был совсем плоским и состоял из двух частей. Отец согнул одну из них, на которой красные маки обрамляли фамилию мистера Симмонса, вставил уголки в отверстия, прорезанные во второй — большей, и карманчик был готов. Теперь он был битком набит письмами.

В кухне были еще две двери. Одна вела в мою крохотную комнатку, где стояли умывальник с мраморным верхом и узкая кровать, застеленная лоскутным одеялом. Через открытую дверь я мог видеть тонкие, оклеенные газетами стены; когда порыв ветра ударял в наш дом, они колебались, и казалось, что комната дышит. Наша кошка Чернушка любила спать у ножек моей кровати, а Мэг — рядом с ней на подстилке из мешковины. Иногда, пока я спал, мать на цыпочках пробиралась в комнату и выгоняла их, но они неизменно возвращались.

Вторая дверь вела в спальню Мэри и Джейн; она была таких же размеров, как моя, но в ней стояли две кровати и комод с зеркалом, подвешенным между верхними ящичками, в которых Мэри и Джейн хранили свои брошки.

Против двери на заднюю веранду был выход в небольшой коридор. Потрепанные плюшевые портьеры отгораживали его от кухни и делили дом на две части. Здесь, на кухонной половине, можно было прыгать по стульям и шуметь и при желании забиться под стол, играя в «медведей», но там, за портьерой, на парадной половине, мы никогда не играли; туда даже не полагалось входить в грязной одежде и нечищенных башмаках.

Из коридорчика вы попадали в гостиную, где сиял чистотой линолеум, который неустанно скребли и терли щеткой; в свежавыкрашенном охрой очаге зимой всегда лежали дрова — их зажигали, когда к нам приходили гости.

Стены гостиной были увешаны фотографиями в рамках. Рамки были разные: из ракушек, из обтянутого бархатом дерева, металлические, а одна даже из пробок. Тут были и продолговатые рамки, вмещавшие несколько фотографий, и большие резные рамки, в одной из которых был снимок бородатого мужчины свирепого вида, опиравшегося на маленький столик перед водопадом. Это был дедушка Маршалл. На другой фотографии в большой рамке были старая дама в черной кружевной шали, сидевшая в неестественной позе на скамье в беседке из роз, и худой мужчина в узеньких брюках — он стоял позади, положив руку ей на плечо, и с

суровым видом глядел на фотографа.

Эти два не улыбкающих человека были родители моей матери. Отец, смотря на эти фотографии, неизменно повторял, что у бабушки колени большие, как у жеребенка, но мать утверждала, что всему виной узенькие брючки. Мне при взгляде на фотографии прежде всего бросались в глаза бабушкины колени, и я начинал думать о жеребятках.

В гостиной отец всегда сидел за книгой. Он читал «Невиновен, или В защиту горемыки» Роберта Блэчфорда и «Мою блестящую карьеру» Майлс Франклин. Он очень любил эти книги, которые ему подарил Питер Финли, и часто о них говорил.

Он не раз повторял:

— Люблю книги, которые говорят правду; по мне, лучше огорчиться от правды, чем развеселиться от лжи; пропади я пропадом, если это не так.

Он пришел из конюшни, где задавал лошадям корм, сел в кресло, набитое конским волосом (когда я пристраивался на нем, волос колол меня через штаны), и сказал:

— В мешке резки, который я купил на днях у Симмонса, полно овса. Давно мне не попадалось такого удачного мешка. Он говорит, что это солома старого Пэдди О'Лофлена. — Отец улыбнулся мне, — Как тебе нравится дома, старина?

— Ох, хорошо, — сказал я.

— Еще бы, — подтвердил отец. Он стал стаскивать свои «эластичные» сапоги, и на лице его появилась гримаса. — Немного погодя я покатаю тебя по двору и покажу щенят Мэг.

— Почему бы тебе не купить еще резки, пока ее всю не распродали? предложила мать.

— Я так и думаю сделать. Скажу, чтобы Симмонс оставил ее за мной: овес Пэдди — с коротким стеблем, кустистый.

— Когда мне можно будет снова походить на костылях? — спросил я. Мать напомнила:

— Алан, доктор сказал, что ты должен ежедневно лежать по часу.

— Нелегкое это будет дело, — проворчал отец, разглядывая подошвы своих сапог.

— Ничего не поделаешь.

— Это верно. Не забывай, Алан, каждый день ты должен немного лежать. Но и на костылях ты сможешь ходить ежедневно. Я сделаю на ручках обивку из конского волоса. Ведь сейчас тебе от них больно под мышками?

— Больно.

Держа перед собой сапог, отец быстро посмотрел на меня: во взгляде его была озабоченность.

— Пододвинь свое кресло к столу, — сказала ему мать.

Она подкатила мою коляску поближе к отцу, выпрямилась и улыбнулась.

— Что ж, — сказала она, — сейчас у нас снова в доме двое мужчин, и мне уже не придется так много работать как раньше.

Глава 11

После обеда отец повез меня в моей коляске по двору. Когда он подкатил ее к клетке Пэта, я с беспокойством подумал, что пол ее нечищен и что надо им заняться; потом я посмотрел на Пэта: старый какаду сидел нахохлившись на своей жердочке и пощелкивал клювом — я хорошо знал этот звук. Я просунул сквозь сетку палец и почесал его опущенную головку; на пальце осталась белая пыльца от перьев, и я ощутил запах попугая, неизменно напоминавший мне о малиновых крыльях, мелькающих в зарослях. Пэт осторожно захватил мой палец своим крепким клювом, и я почувствовал быстрые, упругие прикосновения сухого, словно резинового язычка.

— Эй, Пэт, — сказал он моим голосом.

Королевский попугай в соседней клетке все еще прыгал взад и вперед на своем шестке, но Том — мой опоссум — уже спал. Отец вытащил его из маленького темного ящика, в котором спал зверек; Том открыл свои большие спокойные глаза, посмотрел на меня и снова свернулся калачиком на ладонях моего отца.

Мы направились к конюшне, откуда доносилось фырканье лошадей, которым в ноздри набилась сечка, и громкие удары копыт по неровному каменному полу.

Нашей конюшне было не меньше шестидесяти лет, и казалось, что она вот-вот рухнет под тяжестью своей соломенной крыши. Она наклонилась набок, несмотря на то что была подперта стволами кряжистых эвкалиптов с развилиной наверху, на которых покоились балки крыши. Стены были сделаны из горбылей, изготовленных из спиленных по соседству деревьев, и сквозь щели между ними можно было заглянуть в темное помещение, где сильно пахло конским навозом и соломой, пропитанной мочой.

Привязанные веревками к железным кольцам в стене, лошади склонялись над кормушками, которые были выдолблены из целых бревен и

обтесаны топором.

Рядом с конюшней, под той же тяжелой соломенной кровлей, в которой с гомоном и криком строили гнезда воробьи, находился сарай для хранения корма; грубый дощатый пол был усеян просыпанными зернами и сечкой. В соседнем помещении хранилась сбруя: на деревянных крючках, прибитых к горбылям, висели хомуты, дуги, вожжи, уздечки, седла. На особом колышке висело специальное седло, которым отец пользовался, объезжая лошадей; начищенные воском покрывки потника блестели и сверкали.

На полу у стены, на тесаном бревне, поддерживавшем горбыли, были расставлены банки со смазочным маслом, бутылки со скипидаром, «раствором Соломона» и различными лекарствами для лошадей. Специальные полочки предназначались для щеток и скребниц; рядом с ними на гвоздях висели два кнута.

Все под той же соломенной крышей помещался и каретный сарай, где стояли трехместная бричка и дрожки. Дрожки были приставлены к стене, и длинные, сделанные из орехового дерева оглобли, пропущенные через стрехи, торчали над крышей.

Задняя дверь конюшни вела на конский двор — круглую площадку, огороженную грубо отесанными семифутовыми столбами и брусьями. Ограда была сделана наклонно — с таким расчетом, чтобы брыкающаяся лошадь не могла раздробить о брусья ноги моего отца или ударить его о столб. Перед конским двором рос старый красный эвкалипт. В пору цветения стаи попугайчиков клевали его цветы, порой они висели на ветках головой вниз, а если их испугивали, начинали кружиться над деревом, оглашая воздух пронзительными криками. У его ствола были свалены сломанные колеса, заржавленные оси, рессоры, негодные хомуты, пострадавшие от непогоды сиденья экипажей. Из порванных подушек торчал серый конский волос. Между могучими корнями валялась целая груда старых заржавленных подков.

В углу двора росло несколько акаций, и земля под ними была густо усыпана конским навозом. Тут в жаркие дни располагались в тени лошади, которых объезжал отец. Они стояли, опустив головы, отставив заднюю ногу, и отгоняли хвостом мух, привлеченных запахом навоза.

Неподалеку от акаций была калитка, выходившая на покрытую грязью дорогу, за которой еще сохранился небольшой участок зарослей, служивших убежищем для нескольких кенгуру, упрямо не желавших отступить в менее населенные места. В тени деревьев укрылось небольшое болотце, где водились черные утки и откуда в тихие ночи доносился крик

выпи.

— Водяной сегодня разгулялся, — говорил отец, но меня эти звуки пугали.

Лавка, склад, почта и школа находились примерно в миле от нас — на дороге, где на расчищенных участках расположились богатые молочные фермы, принадлежавшие миссис Карузерс.

Над поселком возвышался большой холм — гора Туралла. Он густо оброс кустарником и папоротниками, а на вершине его находился старый кратер, в который детвора скатывала большие камни; они катились, подпрыгивая и ломая папоротники, пока где-то далеко внизу не достигали дна.

Мой отец не раз взбирался верхом на гору Туралла. Он говорил, что лошади, объезженные на склонах горы, крепче держатся на ногах и стоят на несколько фунтов дороже, чем лошади, объезженные на равнине.

Я поверил этому твердо и непоколебимо. Все, что отец говорил о лошадях, запечатлевалось в моем сознании и становилось такой же неотъемлемой частью моего существа, как мое имя.

Подкатывая мою коляску к конюшне, отец рассказывал мне:

— Сейчас я объезжаю жеребчика, который здорово белки показывает. А уж если лошадь показывает белки, так, значит, любит лягаться, да так, что и у комара, кажется, могла бы глаз выбить. Эта животина принадлежит Брэди. И когда-нибудь она его убьет, помяни мое слово... Стой смирно! — крикнул он лошади, которая рванулась вперед, поджав круп. — Вот погляди только — так и норовит лягнуть. Я уже приучил его к узде, но вот когда придется запрячь его в линейку, то — бьюсь об заклад — он себя покажет: будет рвать и метать как бешеный.

Отец отошел от меня и, приблизившись к лошади, стал поглаживать ее по вздрагивавшей спине.

— Спокойно, спокойно, старина, — говорил он тихим голосом, и лошадь через минуту уже перестала волноваться и повернула голову, чтобы посмотреть на него. — Когда я буду приучать его к упряжи, то надену на него особый ремень, чтобы не брыкался, — продолжал отец. — А что он посмотрел на меня это ничего не значит.

— Папа, можно будет с тобой поехать, когда ты его запряжешь в бричку? спросил я.

— Что ж, пожалуй, — произнес он задумчиво, набивая трубку. — Ты мог бы помочь мне, если бы подержал ремень; да, ты очень помог бы мне, но... — тут он пальцем примял табак, — все же лучше мне разок-другой проехаться одному. Далеко я не поеду — это будет простая разминка. Но я

хотел бы, чтобы ты посмотрел на него со стороны н, когда я проеду мимо тебя, сказал свое мнение о его пробежке. Это тебе часто придется делать — говорить мне свое мнение о них. У тебя есть чутье на лошадей, право, я не знаю никого, кто имел бы такое хорошее чутье...

— Я буду следить и рассказывать тебе! — воскликнул я, загоревшись желанием помочь отцу. — Буду смотреть на его ноги как проклятый. Я тебе все расскажу о том, как он шел. Я это сделаю с удовольствием.

— Знаю, — сказал отец, разжигая трубку. — Мне повезло, что у меня такой сын уродился.

— А как я уродился у тебя, папа? — спросил я, чтобы поддержать дружеский разговор.

— Твоя мать немного поносила тебя в себе, а затем ты появился на свет. Она говорила, что ты расцветал у нее под сердцем, как цветок.

— Как котята у Чернушки?

— Да, вроде того.

— Знаешь, мне это как-то неприятно...

— Да... — Он помолчал, посмотрел через дверь конюшни на заросли и сказал: — Мне тоже было неприятно, когда я впервые узнал об этом. Но потом я увидел, что это очень хорошо. Посмотри на жеребенка, когда он бежит рядом со своей матерью: он так и льнет к ней, так и прижимается, прямо на бегу. Отец, словно показывая, как это бывает, прижался к столбу. — Так вот, прежде чем жеребенок родился, мать носила его в себе. А когда он появится на свет, то он так и прыгает вокруг нее, словно просится назад. Это все очень хорошо — так мне кажется. Ведь это лучше, чем если бы тебя просто кто-нибудь принес и отдал матери. Если пораскинуть мозгами, то видишь, что все очень хорошо придумано.

— Да, мне тоже так кажется. — Я тут же, на ходу, изменил свое мнение: Я люблю жеребят.

Мне вдруг понравилось, что лошади носят своих жеребят в себе.

— Я не хотел бы, чтобы меня просто кто-нибудь принес, — сказал я.

— Нет, я тоже этого не хотел бы, — согласился отец.

Глава 12

Отец повез меня во двор и сказал, чтобы я смотрел, как он будет смазывать бричку.

— А ты знаешь, — спросил он, приподнимая колесо, — что в субботу будет пикник?

— Пикник? — воскликнул я; меня охватило волнение при одной только мысли о нашем ежегодном школьном празднике. — А мы поедем?

— Да.

Вдруг острая боль разочарования исказила мое лицо.

— Ведь бежать-то я не могу, — сказал я.

— Нет, — отрывисто произнес отец; резким движением он рванул приподнятое колесо и с минуту смотрел, как оно вертится. — Да это и не важно.

Но я знал, что это очень важно. Отец всегда твердил мне, что я должен стать хорошим бегуном и брать призы, как это делал он в свое время. Однако теперь я не смогу завоевывать призы, пока не выздоровлю, а это вряд ли произойдет до пикника.

Не желая огорчать отца, я сказал ему:

— Ничего! Наверно, я бы опять оглянулся назад.

Я был самым маленьким и самым юным участником состязаний по бегу на нашем ежегодном школьном пикнике, и организаторы обычно принимали все меры, чтобы я пришел к финишу раньше моих более рослых старших соперников. Мне всегда давали на старте фору, хотя я, по правде говоря, не нуждался в этом преимуществе: я отлично бежал тогда, когда в этом не было особой надобности, но, поскольку я ни разу еще не выигрывал на соревнованиях, все старались помочь мне одержать победу.

Отец записывал меня на эти состязания с большой надеждой на успех. Накануне прошлогоднего пикника, когда я еще мог бегать, как другие мальчики, он подробно объяснил, что мне надлежит делать после выстрела из пистолета. Я с таким увлечением слушал его советы, что за завтраком он сказал:

— Сегодня Алан придет первым.

Для меня это было прорицанием оракула. Раз папа сказал, что я сегодня окажусь победителем, — значит, так оно и будет. Непременно будет. После завтрака, пока шли приготовления к отъезду, я стоял у калитки и сообщал о моей предстоящей победе всем, кто проезжал мимо нашего дома.

Пикник устраивался на берегу реки Тураллы, в трех милях от нас, — в тот раз отец отвез нас туда в бричке. Я сидел с матерью и отцом впереди, а Мэри и Джейн — сзади лицом друг к другу.

Фермеры и жители зарослей, отправляясь на пикник, считали эту поездку прекрасным поводом продемонстрировать качества своих лошадей, и на протяжении всех трех миль, отделявших поселок от реки, колеса экипажей вертелись с неистовой быстротой, а камешки так и летели из-под

копыт; каждый старался обогнать соперника, к вящей славе своего коня.

К реке вело шоссе, но вдоль него по лугу шла дорога, проложенная теми, кто хотел испытать своих лошадей. По мягкой земле тянулись три темные полосы — колеи от колес и глубокая рытвина, выбитая конскими копытами. Эта дорога извивалась между пнями, огибала болотца, петляла между деревьями и, дойдя до глубокой канавы, опять возвращалась на шоссе. Впрочем, ненадолго. Как только препятствие оставалось позади, дорога снова, извиваясь, бежала по лугу, пока наконец не исчезала за холмом.

Отец всегда ездил по этой дороге, и наша бричка, к моему восхищению, подскакивала и подпрыгивала на ухабах, когда отец слегка «поглаживал» кнутом Принца.

Наш Принц — горбоносый гнедой жеребец — по словам отца, мог скакать как ошпаренный. У него был широкий шаг, широкие копыта, и на ходу он часто «засекался» — задние подковы с лязгом ударялись о передние.

Мне нравился этот лязг потому же, почему мне нравилось, как скрипят мои сапоги. Сапоги со скрипом доказывали, что я взрослый, лязгающие подковы Принца доказывали, что он умеет показать класс. Отцу, однако, эта привычка Принца не нравилась, и, чтобы отучить от нее, он даже поставил ему на передние ноги подковы потяжелее.

Когда Принц сворачивал на луговую дорогу и чувствовал, что вожжи натянулись (отец называл это «собрать лошадь»), он прижимал уши, поджимал круп и начинал выбрасывать вперед свои могучие ноги быстрыми, легкими движениями, в такт которым заводили свою песню колеса брички.

И меня тоже охватывало желание петь: я любил, когда ветер кусал мне лицо, когда брызги грязи и гравий, вылетающие из-под копыт, ударяли меня по щекам. Какое лее это было наслаждение!

Я любил смотреть, как крепко натягивает отец вожжи в, то время, как наша бричка проносится мимо других повозок и двуколок, на которых его приятели подергивают вожжами и размахивают кнутом, стараясь выжать из своих лошадей все, что можно.

— Гоп, гоп! — кричал отец, и этот возглас, то и дело звучавший, когда он объезжал лошадей, обладал такой властью, что любая лошадь, слышав его, стремительно бросалась вперед.

И вот теперь, когда я с ногами, укутанными пледом, сидел на солнышке и смотрел, как отец смазывает бричку, я вспоминал, как ровно год назад отец победил Макферсона, обогнав его в «состязании на две

мили».

Отец почему-то никогда не оглядывался на своих соперников. Взгляд его был устремлен вперед — на дорогу, — и улыбка не сходила с его лица.

— Неудачно подпрыгнешь на ухабе — вот и проиграл ярд, — говаривал он.

Я же всегда оглядывался. Какое это было удовольствие — видеть рядом с собой, у колеса нашей брички, голову могучей лошади, ее раздувающиеся ноздри, хлопья пены, срывающиеся с ее губ.

Помню, как я оглянулся на Макферсона.

— Папа, — крикнул я, — Макферсон нагоняет!

По шоссе, отставая от нас примерно на корпус, о грохотом мчалась двуколка на желтых колесах; сидевший в ней рыжебородый мужчина отчаянно нахлестывал серую лошадь. В этом месте луговая дорога, по которой ехали мы, начинала сворачивать к шоссе.

— Пусть попробует! — пробормотал отец.

Он привстал, наклонился, подобрал вожжи и посмотрел вперед — туда, где в сотне ярдов от нас дорога выходила на шоссе у мостика через канаву. Дальше дорога опять ответвлялась от шоссе, но проехать по мостику мог только один,

— Вперед, красавчик! — крикнул отец и ударил Принца кнутом. Рослая лошадь понеслась еще быстрее, и шоссе стремительно приближалось.

— Дорогу! — заорал Макферсон. — Уступи дорогу, Маршалл, или катись ко всем чертям в преисподнюю!

Мистер Макферсон был церковным старостой и знал толк в чертях и в преисподней, но он ничего не знал о нашем Принце.

— Черта с два тебе за мной угнаться! — крикнул в ответ отец.

— Гоп! Гоп! — И Принц отдал ту последнюю малую частицу своих сил, которую держал про запас.

Наша бричка вылетела на шоссе под самым носом у серого скакуна, в клубах пыли пронеслась по мостику и вновь свернула на луговую дорогу, сопровождаемая ругательствами отставшего Макферсона, который все еще продолжал размахивать кнутом.

— Пропади он пропадом! — воскликнул отец. — Он думал, что я ему поддамся. Да будь я на дрожках, я подавно оставил бы его с носом.

По дороге на пикник воскресной школы отец всегда ругался.

— Вспомни, куда мы едем, — уговаривала его мать.

— Ладно, — охотно соглашался с ней отец, но тут же снова начинал чертыхаться. — Черт подери! — кричал он. — Поглядите-ка, вот едет

Роджерс на своем чалом, это у него новый! Хоп-хоп!

Наконец мы одолели последний подъем и подъехали к месту пикника. Речка была совсем рядом. Тень переброшенного через нее железнодорожного моста дрожала и колебалась на воде и лежала неподвижно на заросших травой береговых откосах.

На прибрежной лужайке уже играли дети. Взрослые, склонившись над корзинками, распаковывали чашки и тарелки, доставали из бумаги пироги и раскладывали на подносах бутерброды.

Лошади, привязанные к ограде, огибавшей ближний пригорок, отдыхали, опустив голову. То одна, то другая лошадь встряхивала торбой и фыркала, стараясь избавиться от набившейся в ноздри пыли. Внизу, в тени моста, между столбами стояли повозки и экипажи.

Отец въехал на свободное место между двумя рядами торчащих оглобель, и мы соскочили еще до того, как послышался его окрик: «Тпру, стой!» — и туго натянутые вожжи остановили лошадь.

Я подбежал к реке. Даже просто глядеть на нее доставляло удовольствие. Течение было быстрое, и у стройных стеблей тростника вода зыбилась крохотными гребешками. Плоские листья камыша касались ее поверхности заостренными концами, а с самого дна то и дело всплывали серебристые пузырьки и лопались, поднимая легкую рябь.

По берегам росли старые красные эвкалипты; их ветви склонялись над водой, и порой так низко, что поток захватывал листья, тащил за собой и снова отпускал. Корни упавших деревьев торчали над заросшими травой ямами, где когда-то они прочно цеплялись за землю. На эти сухие корни можно было влезть, как по ступенькам лестницы, и, устроившись наверху, смотреть на погруженный в воду ствол. Я любил прикасаться к этим потрескавшимся и побелевшим от дождя и солнца деревьям, внимательно разглядывать строение тончайших волокон коры лесного великана, искать на ней следы царапин опоссума или просто представлять себе это дерево живым и зеленым. На другом берегу в высокой траве стояли волы и, подняв голову, смотрели на меня. Над зарослями тростника тяжело взлетел голубой журавль; но вот ко мне подбежала Мэри и позвала меня готовиться к состязанию. Я собирался выиграть именно это состязание, о чем немедленно сообщил Мэри, ухватившись за ее руку, пока мы шли по траве к бричке, где мать готовила завтрак. Она расстелила на земле скатерть, и отец, примостившись на коленях, отрезал тонкие ломтики мяса от холодной бараньей ноги. Он всегда относился подозрительно к мясу, купленному у мясника, утверждая, что баранина бывает хороша, только если овцу взять прямо с пастбища и зарезать, пока она еще сыта.

— У мясника же, — говорил он, — овец подолгу держат на скотном дворе, их кусают собаки. На бедняге иной раз живого места не остается. А если овец по нескольку дней не кормить, они, конечно, спадают с тела.

Поворачивая на блюде баранью ногу то в одну, то в другую сторону, отец что-то бормотал про себя.

Увидев меня, он сказал:

— Когда эта овечка была жива, она так же любила поесть, как и я. Садись и ешь.

После завтрака я неотступно следовал за отцом, куда бы он ни шел, пока наконец не зазвенел звонок, возвещавший начало состязаний.

— Нам пора, — сказал он, оборвав разговор с приятелем. — Мы еще увидимся, Том. — И отец помахал ему на прощание. Он взял меня за руку, и мы пошли к тому месту, где Питер Финли выстраивал мальчиков, участвовавших в состязании.

— Подайтесь назад, — то и дело повторял Питер, обходя выстроившуюся перед ним линейку и подравнивая ее. — Не толкайтесь, — приговаривал он, развернитесь пошире. Так уже лучше. И не надо спешить. Не торопитесь. Мы скажем, когда начинать. Еще назад!

— Вот вам еще одного в шеренгу, — сказал ему отец, подталкивая меня вперед. Питер обернулся.

— А! — воскликнул он, поглядев на меня с веселой улыбкой. — А он не заартачится сегодня?

— Нет, он прямо на дыбки становится, так ему хочется бежать, — ответил отец.

Питер посмотрел на дорожку, на которой нам предстояло состязаться.

— Поставь его у того кустика, Билл. Ему надо дать фору. — Он погладил меня по голове. — Покажи своему старику, на что ты способен.

Мне понравилась эта суматоха перед состязанием, из которого мне предстояло выйти победителем. Кое-кто из мальчиков подпрыгивал на месте, другие нагнулись, упираясь пальцами в землю. Отец сказал, что мне этого делать не надо. Я пошел следом за ним; мы продвигались между двумя шеренгами людей. Все, кого я знал, были тут, они смотрели на нас с улыбкой. Тут была и миссис Картер; когда-то она дала мне леденец. Теперь она помахала мне рукой.

— Старайся бежать быстро, Алан! — крикнула она мне.

— Вот здесь твое место, — сказал отец.

Он остановился и, нагнувшись, разул меня. Трава была такая, что стоять на ней босыми ногами было просто невозможно: так и подмывало скакать и прыгать. Я и стал прыгать.

— Стой смирно, — сказал отец. — Гарцующая лошадь никогда не завоюет приза. Стой спокойно и смотри на ленточку. — И он показал мне туда, где в самом конце шеренги двое мужчин держали поперек дорожки узенькую ленточку.

Мне показалось, что это страшно далеко, но, чтобы подбодрить отца, я сказал:

— Добежать туда ничего не стоит.

— А теперь слушай меня, Алан. — Отец присел на корточки, чтобы лицо его было рядом с моим. — Не забудь, о чем я тебе говорил. Как только выстрелят из пистолета, беги прямо к ленточке и не оглядывайся. Как только раздастся выстрел, беги. Беги изо всех сил, как ты бегаешь дома. Я буду стоять вон там. Мне уже время идти. Смотри на ленточку и не оглядывайся назад.

— А я получу приз, если приду первым?

— Да, а сейчас приготовься. Через минуту раздастся выстрел.

И он, пятясь, отошел к остальным зрителям. Меня это очень огорчало. Ведь надо было запомнить такое множество вещей, а его не было рядом.

— Приготовься! — вдруг крикнул он мне из толпы.

Я обернулся, чтобы посмотреть, почему не стреляют из пистолета. Все мальчики стояли на одной линии. Мне захотелось быть вместе с ними — здесь я стоял сам по себе, в одиночку, в стороне от общего веселья. Но вот раздался выстрел, и все побежали. Я испугался, увидев, как быстро они бегут. Соревнуясь между собой, они оглядывались назад, но мне не с кем было соревноваться. Ведь нельзя соревноваться, если рядом с тобой нет соперника.

— Беги! Беги! Беги! — кричал мне отец.

Теперь, когда все уже были рядом со мной, настало время вступить в состязание с ними, но они не стали ждать меня, и я в отчаянии побежал следом за всеми. Я был очень зол и чуточку растерян. Когда я добежал до финиша, ленточку уже опустили; я остановился и заплакал. Ко мне подбежал отец и взял меня на руки.

— Будь я неладен! — крикнул он, и в голосе его звучало раздражение. Почему ты не побежал, когда раздался выстрел? Зачем ты опять оглянулся и стал ждать остальных?

— Я ведь должен был подождать их, чтобы состязаться с ними, — говорил я сквозь слезы. — Я не люблю выигрывать один, сам по себе, ни с кем не состязаясь...

— Ну ладно, нечего плакать, — успокоил меня отец. — Мы все равно сделаем из тебя бегуна.

Все это было год назад.

Может быть, и он думал об этом, крутя колесо, в то время как я сидел в своей коляске и смотрел на него, а мои ноги были укутаны пледом.

— В этот раз ты бежать не сможешь, — произнес он наконец. — Но я хочу, чтобы ты смотрел, как будут бежать другие. Стой около ленточки, смотри на них и будь вместе с ними. Когда первый из бегунов коснется грудью ленточки, ты будешь вместе с ним.

— Но как, папа? — не понял я.

— Подумай сам, — сказал он.

И, пока он ходил в сарай за банкой колесной мази, я раздумывал над его словами.

Он вышел из сарая, поставил банку на землю возле брички, вытер руки тряпкой и сказал:

— У меня когда-то была сука-полукровка кенгуровой породы. Она бегала как проклятая. Могла угнаться за любой ланью, как бы та ни мчалась, и за сто ярдов могла поймать старого самца кенгуру. Она, бывало, вспугнет стадо, выделит одного, кинется за ним, схватит за хвост прямо в прыжке и опрокинет. Никогда не метила в плечо, как другие собаки. И ни разу не промахнулась. Лучшей собаки у меня сроду не было. Один парень предложил мне как-то за нее пять фунтов.

— Отчего же, папа, ты ее не продал?

— Видишь ли, я ее взял еще маленьким щенком и вырастил. Я назвал ее Бесси.

— Как бы я хотел, чтобы она была у нас теперь! — сказал я.

— И я тоже хотел бы, но она наскочила на кол и пропоролла плечо. На нем образовался твердый нарост, и она после этого уже ни на что не годилась. Но все же я брал ее с собой на охоту: она лаяла, а другие собаки бегали. Никогда я не видел собаки, которая приходила бы в такое возбуждение, когда гнались за зверем. А сама она уже в гоньбе не участвовала. Помню, как-то мы затравили старого самца кенгуру; он стоял спиной к дереву, и, когда Бриндл была у меня такая собака, тоже кенгуровой породы, — подбежала к нему, он разодрал ей всю спину — от плеча до бока, и тут Бесси как завизжит. Бог мой! Не видал я другой собаки, которая так любила бы ввязываться в драку и гоняться за дичью, как Бесси. Но она выражала это одним только лаем,

— Ты хорошо о ней рассказываешь, — сказал я отцу, потому что мне хотелось слушать его еще и еще.

— Так вот, ты должен быть таким же, как она. Когда ты будешь смотреть на других, то в это время и сам ты старайся вместе с ними

драться, и бегать, и состязаться, и скакать верхом, и орать благим матом. А о ногах своих забудь. Во всяком случае, я с этой минуты намерен о них забыть.

Глава 13

Каждое утро дети, жившие дальше по нашей дороге, заходили за мной и отвозили меня в школу. Им это нравилось, потому что каждому по очереди удавалось прокатиться со мной в коляске.

Те, кто тащил коляску, гарцевали, как лошади, а я кричал им: «Гоп, гоп!» — и размахивал воображаемым кнутом.

Среди них был Джо Кармайл, живший почти напротив нас, — он был моим товарищем, Фредди Хоук, который умел все делать лучше других и слыл героем школы, и Ябеда Бронсон, который, стоило кому-нибудь его ударить, всегда грозил пожаловаться.

На нашей улице жили две девочки. Одну звали Алиса Баркер. Каждому мальчику в школе хотелось, чтобы она водилась с ним, но ей нравился Фредди Хоук. Другую звали Мэгги Муллигэн. Она была рослой девочкой и знала три страшных проклятия, а если ее разозлить, говорила их все подряд. Ей ничего не стоило надрать вам уши, и мне особенно нравилось, когда она возила мою коляску, потому что я любил Мэгги.

Иной раз, когда мы играли в «брыкающихся коней», коляска опрокидывалась, и Мэгги выпаливала свои три проклятия, поднимала меня и кричала остальным: «Эй, вы, пособите мне посадить его, пока никто не пришел».

На ее спине болтались две длинные рыжие косички, и мальчики дразнили ее «Лисий хвост», а она в ответ пела:

Долгоносик лысый,

Сумчатая крыса...

Она никого из них не боялась; не боялась она и быков.

Однажды бык Макдональда выбежал на дорогу и напал на чужого быка. Мы все остановились посмотреть. Бык Макдональда был крупнее, он прижал противника к дереву и пропорол ему бок. Тот замычал и кинулся бежать. По его задним ногам струилась кровь. Он бежал по дороге, прямо на нас. Бык Макдональда гнался за ним по пятам, бодая его на бегу.

Джо, Фредди и Ябеда кинулись к изгороди, но Мэгги осталась со мной и не выпускала ручки коляски. Она пыталась стащить коляску с дороги, но не успела, и бык Макдональда, пробегая мимо, на ходу ударил коляску

рогами она перевернулась, однако я упал на папоротники и не ушибся. Мэгги Муллигэн тоже осталась цела.

Но колесо у коляски согнулось, и Мэгги взвалила меня на плечи и понесла домой; она останавливалась передохнуть всего четыре раза — Джо и Фредди считали.

Обычно мою коляску оставляли возле дверей школы, и я входил в класс на костылях.

Школа занимала длинное каменное здание с высокими, узкими окнами; увидеть из них что-либо сидя было невозможно. Широкие подоконники были покрыты меловой пылью; в одной из глубоких оконных ниш стояла треснувшая ваза с увядшими цветами.

В противоположных концах класса висели две черные доски. Под каждой доской были сделаны полочки, на которых лежали куски мела, тряпки, большие угольники и линейки.

В стене между досками был камин, набитый старыми классными журналами, а над ним висела картина, изображавшая группу забрызганных кровью солдат в красных мундирах; они смотрели куда-то в сторону, держа ружья наперевес; у их ног лежали трупы других солдат. В центре группы, возвышаясь над остальными, стоял человек, держащий знамя на длинном древке. Он что-то кричал и потрясал кулаком. Картина называлась «Стоять насмерть». Но мисс Прингл не знала, где они стояли. Мистер Тэкер говорил, что на картине изображен британский героизм в его ярчайшем проявлении, и при этом он постукивал по картине длинной указкой, поясняя, о чем именно он говорит. Мисс Прингл учила малышей, а мистер Тэкер учил старших. У мисс Прингл были седые волосы, и она смотрела на нас поверх очков. Она носила высокие стоячие воротнички на пластинке из китового уса, и ей было очень трудно наклонять голову, когда она разрешала выйти из класса. А мне всегда хотелось выйти, потому что на улице можно было постоять на солнце, посмотреть на гору Туралла и послушать сорок. Иногда нас набиралось на улице трое, и мы спорили, кому возвращаться в класс первому.

Мистер Тэкер был старшим учителем. Очков он не носил. Глаза его пугали нас, даже если мы наклоняли голову и старались не смотреть в них. Они были колючими, злыми, холодными, и он пользовался ими, как бичом. Он всегда мыл руки в эмалированном тазике, стоявшем в углу, а потом подходил к своей кафедре и вытирал их маленьким белым полотенцем, ни на минуту не спуская глаз с учеников. Он вытирал каждый палец в отдельности, начиная с большого. Пальцы у него были длинные и белые, и, казалось, можно было разглядеть сквозь кожу узловатые сухожилия. Он

растирал свои пальцы быстро и в то же время размеренно, не переставая сверлить нас глазами.

Пока он вытирал руки, никто не смел шевельнуться, не решался проронить ни слова. Кончив, он складывал полотенце и прятал его в ящик стола, а затем улыбался нам зубами и губами.

Я боялся его, как тигра.

У него была трость, и, прежде чем ударить какого-нибудь мальчика, он дважды взмахивал ею и затем проводил по ней рукой, словно очищая ее.

— Ну-с, — говорил он, и зубы его улыбались.

Не плакать, когда на тебя обрушивались удары трости, считалось у нас признаком стойкости и выдержки. Мальчики, заплакавшие от боли, уже не могли командовать другими. На школьном дворе даже малыши вступали с ними в бой, уверенные, что одержат верх. Моя гордость требовала, чтобы я чем-нибудь да отличился, вызвав восхищение товарищей, а поскольку возможности мои были сильно ограничены, я воспитал в себе презрение к трости, хотя мистера Тэкера я боялся больше, чем остальные ученики. Некоторые мальчики спешили отдернуть руку, когда над ней взвивалась трость мистера Тэкера; я же старался этого не делать: я не гримасничал и не складывал руки на груди после каждого удара я не верил, что это может облегчить боль или разжалобить мистера Тэкера. После наказания тростью я не мог удержать костыли: онемевшие пальцы отказывались сгибаться, и я добирался до своего места, подсовывая руки под перекладыны костылей тыльной стороной.

У мисс Прингл не было трости. У нее был широкий ремень, конец которого она разрезала на три хвоста: мисс Прингл полагала, что эти узкие ремешки бьют больней, но вскоре обнаружила свою ошибку и с тех пор стала пользоваться широким концом ремня.

Заноса ремень для удара, она плотно сжимала губы и задерживала дыхание, но сильные удары у нее не получались. Обычно она ходила по классу с ремнем в руке и время от времени хлопала им себе по юбке, как гуртовщик хлопает бичом, чтобы напугать скот.

Она наказывала, сохраняя полное спокойствие. Но когда мистер Тэкер считал, что нужно кого-нибудь наказать, он впадал в настоящее неистовство. Он кидался к своей кафедре, с треском отбрасывал крышку и, роясь среди лежавших там тетрадей и бумаг в поисках своей трости, рычал:

— Подойди-ка сюда, Томпсон! Я видел, как ты строил рожи! Да, да, тебе показалось, что я отвернулся!

Когда он наказывал ученика, никто в классе не занимался. Мы только смотрели в растерянном молчании, напуганные приступом гнева, который

не могли ни понять, ни объяснить. Его покрасневшее лицо и изменившийся голос казались нам свидетельством каких-то страшных замыслов, и мы тряслись от страха на своих нартах.

Мы знали, каким образом он увидел, что Томпсон делает гримасы за его спиной. Стекло на картине, висевшей над камином, отражало все, что происходило позади Тэкера, и, смотря на картину, он видел перед собой не мертвых солдат и не размахивающего знаменем и что-то кричащего человека, а лица учеников.

Трость и ремень часто упоминались в разговорах ребят. Кое-кто из старших мальчиков со знанием дела рассуждал на эту тему, и мы почтительно прислушивались к их словам.

Так, они сообщили нам, что если вложить конский волос в трещинку на кончике трости, то при первом же ударе по руке мальчика трость расколется надвое. Узнав об этом, я мечтал пролезть через окно в школу, когда она опустеет, вложить конский волос в трещинку и скрыться незамеченным. Я представлял себе, с какой яростью будет мистер Тэкер рассматривать на следующий день свою сломанную трость и с какой улыбкой буду я протягивать ему руку в ожидании удара, который, как мне хорошо известно, он нанести не может. Это была упоительная картина.

Но для того чтобы вставить конский волос, требовалось взломать крышку учительского стола, а этого сделать мы не могли. Вместо этого мы натирали ладони смолой, веря, что от этого они загрубеют и никакие удары не будут для них чувствительны.

С течением времени я стал авторитетом во всем, что касалось смолы; я указывал, сколько смолы надо брать, объясняя, как наносить ее на кожу, говорил, какими свойствами обладают разные смолы, и все это тоном знатока, не терпящего возражений.

В дальнейшем, однако, я перешел к другому средству — коре акаций; я размачивал кору в горячей воде и погружал руки в образовавшуюся коричневую жидкость. Я утверждал, что это дубит кожу, и в доказательство показывал свои ладони, загрубевшие от постоянного трения о перекладыны костылей. Многих я обратил в свою веру, и пузырек настоя коры акации, при условии, что кора была совсем черной, стоил четыре камешка для игры или шесть картинок от папиросных коробок.

В школе я сначала сидел на «галерке», во владениях мисс Прингл. «Галерка» состояла из нескольких рядов парт, расположенных ярусами, и последний ряд находился чуть ли не под самым потолком. К каждой парте было прикреплено сиденье без спинки, на котором умещались шестеро ребят. Все парты были изрезаны перочинными ножами — их покрывали

инициалы, круги, квадраты и просто глубокие царапины. В некоторых крышках были прорезаны круглые отверстия, и через них можно было бросить в ящик резинку или карандаш. Шесть чернильниц покоились в специально сделанных для них отверстиях, а рядом с ними были желобки для ручек и карандашей.

Малыши писали на грифельных досках. В каждой доске наверху была просверлена дырочка, и через нее пропущена веревочка, к которой привязывалась тряпка.

Чтобы стереть с доски написанное, надо было поплевать на нее, а потом потереть тряпкой. Тряпка очень скоро приобретала неприятный запах, и приходилось выпрашивать у матери новую.

Мисс Прингл была убеждена, что настойчивое повторение одного и того же помогает навсегда запечатлеть в памяти ребенка нужный факт, который тем самым становится понятным без всяких объяснений.

Мы сначала заучивали азбуку, повторяя ее каждый день, и затем весь класс нараспев произносил:

— Ка-о-тэ — кот, ка-о-тэ — кот, ка-о-тэ — кот.

Вечером можно было сообщить матери, что ты умеешь назвать буквы в слове «кот», и она находила это событие достойным всяческого удивления.

Но отец не увидел в нем ничего особенного. Когда я ознакомил его с приобретенными мною познаниями, он сказал:

— К черту «кота». Скажи-ка лучше, какие буквы в «лошади».

При желании я быстро усваивал все, чему нас учили, но на уроках я любил хихикать и болтать, и мне частенько приходилось отведывать трости. С каждого занятия я уходил, чего-то не усвоив и не выучив, и я начал ненавидеть школу. Почерк у меня, по мнению мисс Прингл, был плохой, и когда она смотрела мои упражнения по орфографии, то всегда щелкала языком. Вот рисование на свободную тему мне нравилось: я рисовал листья эвкалиптов, и мои рисунки были совсем не похожи на рисунки остальных. На уроках рисования с натуры мы срисовывали кубы, а мои всегда получались кривыми.

Раз в неделю у нас бывал урок, именовавшийся «наука». Он мне нравился потому, что на нем разрешалось стоять вокруг стола, и мы могли толкаться, возиться и вообще всячески развлекаться.

Как-то мистер Тэкер открыл шкаф, в котором находились несколько стеклянных пробирок, спиртовка, сосуд с ртутью и кожаный кружок, к середине которого была прикреплена веревочка. Все эти предметы он поставил на стол и сказал:

— Сегодня мы займемся давлением воздуха, которое равно

четырнадцать фунтам на квадратный дюйм.

Я не видел в этих словах никакого смысла, но, так как я стоял рядом с Мэгги Муллигэн, мне захотелось блеснуть в роли научного светила.

— Мой отец говорит, — сказал я, — что чем больше нахватался человек воздуха, тем легче он становится и в реке никогда не утонет.

Я полагал, что это имеет известное отношение к теме урока, но мистер Тэкер, медленным движением положив кожаный кружок на стол, посмотрел на меня с таким выражением, что я отвернулся, и процедил сквозь зубы:

— Маршалл, да будет тебе известно, что нас не интересуют ни твой отец, ни любое сделанное им наблюдение, даже если таковое свидетельствует о глупости его сына. Будь любезен внимательно слушать урок.

Затем он взял кожаный круг и, намочив его, прижал к столу, и никто из нас не мог его отодрать, кроме Мэгги Муллигэн, которая, дернув с размаху, оторвала его от стола, доказав, что воздух ни на что не давит.

Отвозя меня домой, она сказала, что я был прав — воздух ни на что не давит.

— Мне хотелось бы что-нибудь тебе подарить, — сказал я Мэгги, — но у меня ничего нет.

— А детские журналы у тебя есть? — спросила она.

— У меня под кроватью валяются два, — ответил я с живостью. — Я подарю их тебе.

Глава 14

Постепенно костыли сделались частицей моего существа. Руки у меня развились вне всяких пропорций с остальными частями тела, особенно крепкими и твердыми стали они под мышками. Костыли мне больше не мешали, и я передвигался на них совершенно свободно.

При ходьбе я применял различные «стили», которым давал названия аллюров. Я умел двигаться шагом, рысью, иноходью, галопом. Часто я падал и сильно расшибался, но постепенно научился при падении принимать такое положение, чтобы моя «плохая» нога от этого не пострадала. Все свои падения я разбил на определенные категории и, падая, знал заранее, будет это падение «удачным» или «неудачным». Если костыли скользили, когда я уже вынес тело вперед, то я падал на спину, и это был самый «неудачный» тип падения, потому что моя «плохая» нога

подвертывалась и оказывалась подо мной. Это было очень больно, и, падая таким образом, я, чтобы удержаться от слез, колотил руками по земле.

Если же скользил только один костыль или я зацеплялся за камень или корень, то я падал вперед, на руки и никогда не ушибался.

Как бы то ни было, я всегда ходил в синяках, шишках и царапинах, и каждый вечер заставлял меня за лечением ушиба или увечья, полученного в течение дня.

Но это меня не огорчало. Я воспринимал эти досадные неприятности как нечто неизбежное и естественное и никогда не связывал их с тем, что я калека, так как по-прежнему вовсе не считал себя калеккой.

Когда я начал ходить в школу, я узнал, что такое смертельная усталость — постоянная беда всех калек.

Я всегда старался идти напрямик, срезал углы, искал самый короткий путь. Я шел напролом через колючие кусты, чтобы не сделать нескольких лишних шагов, обходя их; лез через забор, чтобы избежать небольшого крюка, хотя до калитки было рукой подать.

Нормальный ребенок тратит свою избыточную энергию на всевозможные шалости: скачет, прыгает, кружится, идя по улице, подшибает ногой камешки. Я тоже испытывал эту потребность и, когда шел по дороге, давал себе волю и делал неуклюжие попытки прыгать и скакать, чтобы таким образом выразить хорошее настроение. Взрослые, видя эти неловкие усилия излить охватившую меня радость жизни, усматривали в них нечто глубоко трогательное и принимались глядеть на меня с таким состраданием, что я тотчас же прекращал свои прыжки и, лишь когда они исчезали из виду, возвращался в свой счастливый мир, где не было места их грусти и их боли.

Сам того не замечая, я стал по-новому смотреть на мир. Если раньше я испытывал естественное уважение к тем мальчикам, которые посвящали чуть ли не все свое время чтению, то теперь меня стали интересовать только достижения в области спорта и физических упражнений. Футболисты, боксеры, велогонщики вызывали у меня гораздо большее восхищение, чем деятели науки и культуры. Моими лучшими друзьями стали мальчишки, слывшие силачами и задирками. Да и сам я на словах стал обнаруживать самую настоящую воинственность.

— Вот как дам тебе в глаз, Тэд, после школы, тогда узнаешь!

Я не скупился на угрозы, но избегал приводить их в исполнение. Я не мог заставить себя ударить первым и лишь отвечал на удар.

Любое насилие было мне глубоко противно. Иногда, увидев, как кто-нибудь бьет лошадь или собаку, я спешил поскорее укрыться дома, обнять

свою собаку Мэг и прижать ее к себе. И мне становилось легче на душе, потому что с ней не могло случиться ничего дурного.

Я почти все время думал о животных и птицах. Полет птиц действовал на меня как музыка. Когда я смотрел на бегущих собак, мне делалось почти больно — так красивы были их движения, а при виде скачущей галопом лошади меня бросало в дрожь от волнения, которое я едва ли мог бы объяснить.

Я не понимал тогда, что, преклоняясь перед всяким действием, воплощавшим силу и ловкость, я как бы возмещал свою собственную неспособность к такого рода действиям. Я знал лишь, что подобное зрелище наполняет меня восторгом.

Вместе с Джо Кармайклом мы охотились на кроликов и зайцев; в сопровождении своры псов мы бродили по зарослям и выгонам, и, когда нам удавалось поднять зайца и собаки пускались за ним в погоню, мне доставляло неизъяснимую радость следить за волнообразными скачками кенгуровых собак, смотреть, как они бегут, пригнув голову к земле, наблюдать великолепный изгиб шеи и спины, стремительный наклон туловища, когда они достигали увертливого зайца.

Часто я по вечерам уходил в заросли, чтобы дышать запахами земли и деревьев. Среди мха и папоротников я становился на колени и прижимался лицом к земле, впитывая ее аромат.

Я откапывал пальцами корни травы; я ощущал живой глубокий интерес к строению и составу земли, которую держал в руках, к скрытым в ней тоненьким, как волоски, корешкам. Она представлялась мне каким-то волшебным чудом, и мне даже начинало казаться, что голова у меня находится слишком высоко и что из-за этого я не могу полностью воспринять и оценить траву, полевые цветы, мох и камни на тропинке, по которой я шел. Мне хотелось, подобно собаке, бегать, опустив нос к земле, чтобы не упустить ни одного благоухания, чтобы не осталось незамеченным ни одно из чудес мира — будь то камешек или растение.

Я любил ползать в папоротниках на краю болота, пролагая туннели среди подлеска, открывая каждый раз что-то новое, или лежать ничком, прижавшись лицом к светло-зеленым побегам папоротников, лишь недавно появившимся из рождающей жизнь ночной темноты и мягко сжатым, словно кулачки младенца. Какая была в них нежность, сколько доброты и сострадания! Я опускал голову и касался их щекой.

Но я чувствовал себя стесненным, скованным в своих поисках чудесного откровения, которое объяснило бы и утолило одолевавший меня голод. И вот я создал себе мир мечты, в котором я мог вволю бродить и

странствовать, свободный от оков непослушного тела.

После чая, перед тем как наступало время укладываться спать, в той полной таинственного ожидания темноте, когда лягушки на болоте заводили свою музыку и первый опоссум выглядывал из дупла, я выходил к калитке и долго стоял, глядя сквозь жерди на заросли, неподвижно застывшие в ожидании ночи. Позади них гора Туралла в эти так любимые мной вечера заслоняла восходящую луну, и ее крутая вершина четко вырисовывалась на фоне светлого неба.

Прислушиваясь к кваканью лягушек, крику совы и стрекотанию опоссума, я мысленно пускался бежать без оглядки, устремляясь в ночь; я мчался галопом на четвереньках, тыкаясь носом в землю, чтобы учуять следы кролика или кенгуру. Кем я воображал себя в эти минуты — динго или обыкновенной собакой, которая живет в одиночку, в зарослях, — не знаю, но я ни на минуту не отделял себя от зарослей, по которым носился без усталости огромными прыжками. Я был частью этих зарослей, и все, что они могли дать, было моим.

В этом бегстве от действительности, связанной для меня прежде всего с трудностью передвижения, я познавал скорость, не ведавшую усталости, мне были доступны прыжки и скачки, не требовавшие усилий, и я обретал то изящество движений, которое замечал в ловких, занятых работой людях и в бегущих собаках и лошадях.

Когда я был собакой, несущейся вдаль в ночном просторе, я не знал напряжения, мучительных усилий, болезненных падений. Я мчался по зарослям, не поднимая носа от усеянной листьями земли, нагоняя скачущих кенгуру, повторяя их движения, хватая их в прыжке, проносясь над буреломом и ручьями, то выбегая на лунный свет, то скрываясь в тени, и все мышцы напрягались в моем не знавшем усталости теле; оно было полно энергии, вселявшей силу и радость.

Но когда кролик или кенгуру был пойман, мечты обрывались: меня занимала сама охота, преследование дичи, полное слияние моего существа с жизнью зарослей.

Я не представлял себе, что люди со здоровым телом могут чувствовать усталость. По моему глубокому убеждению, утомиться можно было только от передвижения на костылях — здоровым людям это чувство не должно быть знакомо. Ведь именно костыли мешали мне пробежать всю дорогу до школы без остановки; ведь только из-за них я чувствовал сердцебиение, взбираясь на холм, и такое сильное, что я должен был долго стоять, обхватив дерево, чтобы отдышаться, в то время как другие мальчики спокойно продолжали путь. Но я не испытывал злобы к своим костылям.

Такого чувства у меня не было. Когда я мечтал, костыли переставали существовать, но я возвращался к ним без горечи.

В этот период приспособления оба мира, в которых я жил, были мне в равной мере приятны. Каждый из них по-своему побуждал меня стремиться в другой. Мир действительности ковал меня; в мире мечтаний я сам был кузнецом.

Глава 15

Фредди Хоук умел бегать, драться, лазить на деревья и стрелять из рогатки лучше всех ребят в школе. Он был чемпионом игры в камешки и мог закинуть картинку от папиросной коробки дальше, чем кто-либо. Это был спокойный мальчик, никогда не хваставший, и я очень к нему привязался. Он собирал картинки от папиросных коробок, и ему не хватало только одной, чтобы иметь полный комплект серии «Оружие Британской империи».

Свою коллекцию он хранил в жестяной банке из-под табака; каждый день он раз или два вынимал всю пачку, слюнил большой палец и пересчитывал картинки, а я, затаив дыхание, следил за ним. Их всегда оказывалось сорок девять.

Мне хотелось раздобыть для него единственную недостающую картинку, и к каждому встречному я обращался с вопросом: «Нет ли у вас картинки от папиросной коробки, мистер?» — но все безрезультатно.

Я уже пришел было к заключению, что это самая редкая картинка в мире, когда проезжавший мимо наших ворот всадник, к которому я обратился с неизменным вопросом, вынул ее из кармана и дал мне.

Я не мог поверить своим глазам. Несколько раз подряд я проверил номер тридцать семь, а Фредди недоставало как раз этого номера.

На следующий день я с нетерпением ожидал появления Фредди, и когда он показался на дороге, я принялся выкрикивать свою приятную новость, хотя нас разделяло еще не меньше четверти мили. Когда он приблизился настолько, что мог услышать меня, он побежал со всех ног, и через минуту я вручил ему картинку.

В величайшем возбуждении я тут же рассказал ему, как было дело.

— Мне ее дал парень на лошади. Он мне говорит: «Ты что собираешь?», а я ему говорю: «Оружие Британской империи». А он говорит: «Кажется, у меня одна такая картинка есть». Теперь у тебя полный комплект.

Фредди посмотрел на картинку, перевернул ее и взглянул на номер. Он прочитал описание изображенного на ней оружия и сказал:

— Ей-ей, это как раз то, что мне нужно.

Затем Фредди извлек из кармана свою банку от табака и открыл ее. Он вложил новую картинку в колоду на соответствующее по номеру место, постучал колодой о столб, чтобы подровнять ее, смочил палец и принялся медленно пересчитывать картинки, называя вслух каждый номер, который я повторял за ним.

Когда он коснулся последней, я с торжеством воскликнул:

— Пятьдесят!

— Похоже, что так, — заметил Фредди. Он снова подровнял колоду о столб и пересчитал ее, начиная с конца.

— Теперь у тебя полный комплект, Фредди, — радостно сказал я, — и все высшего класса.

— Да, — сказал он. — Подумать только, вся колода, черт возьми, вся!

Он вложил картинки в банку и держал ее в руке, улыбаясь.

Вдруг он сунул банку мне в руки со словами:

— На, возьми, я собирал их для тебя...

Фредди, поглощенный игрой в камешки на картинке от папиросных коробок или верчением волчка, редко играл со мной в школе.

Я считался плохим игроком и всегда проигрывал камешки. У Фредди был особый, так называемый «молочный» камешек, стоивший целый шиллинг, и он давал его мне, чтобы я сыграл в «камешки кверху». Каждый из участников игры ставил по одному «молочному» камешку, но лишь лучшие игроки позволяли себе рискнуть таким ценным камнем.

Разумеется, я каждый раз проигрывал и то и дело жаловался Фредди:

— Я его снова проиграл, Фредди.

— Кому? — спрашивал он.

— Билли Робертсону.

— Хорошо, — говорил Фредди, отыгрывал камешек, давал его мне со словами: «Бери», — и снова возвращался к прерванной игре.

Стоило мне повздорить с кем-нибудь из мальчиков, он тотчас же подходил и прислушивался, постукивая ногой о гравий. Как-то раз Стив Макинтайр пригрозил треснуть меня по спине, на что я ответил:

— Попробуй только — от тебя мокрое место останется. Стив ринулся на меня. Фредди, все слышавший, сказал Стиву:

— Кто тронет этого паренька, будет иметь дело со мной.

Стив после этого раздумал драться, но, когда мы возвратились в класс, сказал:

— После школы я с тобой расправлюсь, вот увидишь!

Я размахнулся костылем и ударил его по голени; после этого ребята разделились на партии: одни говорили, что надо бы сбить форс с меня, другие — со Стива.

Моя ссора со Стивом вспыхнула, когда мы толкались у квадратного железного бака, стараясь напиться. К крану была привязана ржавая жестяная кружка, а под краном в углублении, которое вытоптали ребята своими ботинками, скопилась пролитая вода. Те, кто хотел напиться, топтались в этой грязной луже, словно коровы у водопоя.

Летом, когда мы играли во дворе, у бака всегда была свалка, мальчики и девочки толкали и давили друг друга, вырывая полупустую кружку из рук у тех, кто еще не успел напиться, и спешили опрокинуть ее себе в рот, а в это время к ней уже тянулись десятка два новых претендентов. Она переходила из рук в руки.

Эта возня сопровождалась криком и шумом; счастливца, пившего из кружки, тормозили со всех сторон; зывали к его совести, угрожали, напоминали о забытых обязательствах.

— Послушай, Билл, я здесь, давай кружку...

— Помнишь, я одолжил тебе свою битку, Джим, я за тобой... Эй, Джим, за тобой я! В кружке хватит на нас обоих... Убирайтесь с дороги!.. Чего ты толкаешься... Я пришел первым... Я за тобой... Проваливай к чертям!..

Платья, рубашки — все было забрызгано водой... Мальчики выпрыгивали из этой толчеи на одной ноге, сжимая руками разбитую голень ноги и вопили: «Ой-ой!» Девочки кричали: «Вот я скажу учительнице!» Те, кому удалось напиться, прокладывали себе дорогу через толпу, вытирая ладонью мокрые губы и торжествуя улыбаясь.

Я дрался за воду, как и все остальные. В таких случаях никто не считался с моими парализованными ногами, и меня сбивали наземь или отталкивали в сторону, проявляя полное пренебрежение к моим костылям.

Я поощрял такое отношение к себе, прибегая к угрозам, совершенно не соответствовавшим моим силам и возможностям. «Как дам раза, тогда узнаешь!» — кричал я нашему школьному силачу и главному забияке, к немалому его удивлению.

Все были уверены, что я готов осуществить свои угрозы, но до стычки со Стивом Макинтайром случая для этого не представлялось.

Стив ударил по кружке, когда я пил, облил мне всю грудь и выхватил у меня кружку. Я ударил его в живот, но от толчка выронил костыль и упал. Лежа на земле, я схватил Стива за ноги и свалил его в грязь. Он, однако,

поднялся раньше, чем я, и уже бросился на меня с кулаками, но тут раздался звонок. В течение целой недели после этой стычки мы обменивались угрозами; каждого из нас окружали приятели, шептавшие нам на ухо свои советы. Все считали, что у меня сильные руки, но советчики Стива открыто заявляли, что если выбить у меня костыли, то песенка моя спета. Мои же сторонники, наоборот, утверждали, что лучше всего я дерусь именно лежа. Сам я не знал, в каком положении я дерусь лучше всего, но был твердо убежден, что выйду из боя победителем.

— Пусть он собьет меня с ног, — заявил я Фредди Хоуку, — я все равно встану и снова кинусь на него.

«Мои рассуждения основывались на простой предпосылке: „Если ты сам не сдаешься, то тебя никогда не побьют“». Я знал, что ничто на свете не заставит меня сдаться, — следовательно, я должен победить.

Пересчитывая камешки и укладывая их в холщовый мешочек на шнурке, Фредди сказал мне:

— Я буду драться за тебя со Стивом и подарю тебе еще одну битку.

С этим я никак не мог согласиться. Я должен был сам разделаться со Стивом — сам, и никто иной. Я должен был либо драться с ним, либо навсегда прослыть мямлей и маменькиным сынком. Если я не буду с ним драться, никто из ребят не будет верить моим словам.

Все это я объяснил Фредди, и он посоветовал мне драться со Стивом, прислонившись к каменной стене, потому что, промахнувшись, Стив всякий раз будет ударять кулаком о стену.

Мне этот план понравился.

Вечером, придя из школы, я рассказал матери, что завтра буду драться со Стивом Макинтайром у старого пня на выгоне Джексона.

Мать обернулась ко мне (она готовила обед у плиты) и воскликнула:

— Драться? Ты будешь драться?

— Да, — ответил я.

Она поставила на плиту большой закопченный чайник и сказала:

— Мне это не нравится, Алан. Разве ты не можешь уклониться от этой драки?

— Нет, — сказал я, — я хочу с ним драться.

— Не надо, — произнесла она просящим голосом и вдруг умолкла, на лице ее появилась тревога. Она задумалась. — Я... А что говорит отец?

— Я еще ему не рассказал об этом.

— Пойди и скажи.

Я пошел к загону, где отец проваживал молодую нервную лошадь, волочившую за собой бревно. Шея ее была изогнута. Лошадь грызла удила,

и вся морда ее была в пене. Шла она скачками, и отец ей что-то говорил.

Я забрался на ограду и сказал:

— Завтра я буду драться со Стивом Макинтайром. Отец придержал лошадь и стал хлопать ее по шее.

— Как это — драться? — спросил он. — На кулачках?

— Да.

— А из-за чего сыр-бор загорелся?

— Он облил меня водой.

— Ну, это не страшно, — сказал он, — я и сам не прочь побрызгаться.

— Он постоянно задирается.

— Вот это уже хуже, — произнес отец, глядя в землю. — Кто твой секундант?

— Фредди Хоук.

— Да, — пробормотал он, — это хороший парень. — И добавил: — Я знал, что тебе придется с кем-нибудь сцепиться. — Он посмотрел на меня. — Но ведь не ты затеял драку, правда, сынок? Мне бы этого не хотелось.

— Нет, — сказал я, — это он пристаёт ко мне.

— Понятно, — промолвил отец и посмотрел на лошадь. — Подожди, я сейчас ее отведу.

Посмотрев, как он распрягает лошадь, я слез и стал поджидать его у дверей конюшни.

Выйдя из нее, отец сказал:

— А теперь давай-ка все выясним по порядку. Какого он роста, этот Макинтайр, я что-то не помню его.

— Он побольше меня, но Фредди говорит, что он трус.

— Подумай, — продолжал отец, — что будет, если он тебя ударит. Ведь он из тебя котлету сделает, а ты его схватить не сможешь. Конечно, и ты можешь разок здорово стукнуть его, но, если он ударит тебя под вздох, ты свалишься, как куль с мукой, не потому, что ты не умеешь драться, — поспешно добавил он. — Я знаю — ты будешь молотить, словно настоящая молотилка, но как ты устоишь на ногах? Ведь ты не можешь одновременно и держаться за костыли и бить его.

— Ничего! — с жаром воскликнул я. — Стоит мне только очутиться на земле, и я свалю его с ног, он от меня не уйдет.

— Ну, а как твоя спина?

— Все в порядке. Не болит. Вот если он ударит по спине, тогда будет больно, но я ведь буду на ней лежать.

Отец вынул трубку и задумчиво смотрел, как его пальцы уминают

табак в чубуке.

— Жаль, что нельзя драться как-нибудь по-другому... Например, стрелять из рогатки.

— О, он по этой части собаку съел. Ему ничего не стоит за версту попасть в синицу.

— А как насчет палок? — спросил отец с ноткой сомнения в голосе.

— Палки! — воскликнул я.

— Что же, если драться на палках, то у тебя будет преимущество. Ведь у тебя руки сильнее, чем у него. Ты мог бы биться с ним, сидя на траве. Как только подадут команду: «Начинай!» — или как там у вас говорят, старайся ударить его посильней. Если он, как тебе кажется, трус, то после первого сильного удара он и подождет хвост.

— А если он не захочет драться на палках?

— Заставь его пойти на это, — продолжал отец. — Если он упрется, обзови его трусом в присутствии ребят. На это он клюнет. Прояви хитрость. Не выходи из себя. Если тебе удастся, стукни его изо всех сил по костяшкам пальцев. Если он похож на своего старика, то он мыльный пузырь, — я видел на днях в трактире, как его старик куражился. Делал вид, что ему не терпится пустить кулаки в ход, а когда старый Рэйли предложил ему выйти на травку, он быстро скис. И сынок, верно, такой же. Смотри, какое у него будет выражение лица, когда ты предложишь драться не на кулачках, а на палках.

Вечером через открытую дверь я видел, как отец разговаривал с матерью, штопавшей мои чулки. До меня доносились его слова:

— Мы должны закалять его, Мэри. Пусть он учится принимать удары в лицо, как бы это ни было больно. А если ограждать его от них, то кончится тем, что его будут бить по затылку, да еще как! Все это очень невесело. Но что поделаешь! Сейчас мы должны уже думать не о ребенке, а о мужчине и его будущем. Я хочу, чтобы он пошел на эту драку, как бы ни пришлось рисковать. Ведь ограждая его голову от ударов, мы можем разбить ему сердце. Уж лучше пусть рискует. Так я думаю. Быть может, я ошибаюсь, но готов прозакладывать все, что имею, — мне кажется, я прав. Мать что-то возразила ему.

— Да, я знаю, — ответил он, — но мы должны рискнуть. Меня это тоже чертовски пугает, но самое страшное, что ему грозит, — это шишка на голове и одна-две царапины... Не хотел бы я быть на месте этого парнишки Макинтайра, — добавил он после короткой паузы.

Он откинул голову и тихо засмеялся, и свет лампы озарил его лицо; мать смотрела на него долго и внимательно.

Глава 16

Драки происходили после занятий. В тот день, когда должна была состояться драка, все в школе ходили с взволнованным, возбужденным видом. Девочки то и дело грозили: «Вот я скажу!» — а наиболее известным в школе ябедам приходилось выслушивать великое множество возмущенных и оскорбительных тирад, после чего обиженные девочки, задрвав нос и упрямо встряхивая косичками, удалялись, провожаемые сердитыми взглядами всех тех, кто презирал доносы.

Однако требовалась большая храбрость, чтобы действительно «донести», когда вся школа с нетерпением ждала драки, и девочки, считавшиеся ябедами, сделав два-три заносчивых шага к двери, останавливались перед ней в нерешительности и принимались обмениваться явно клеветническими замечаниями по адресу «этих свиной-мальчишек», не спускавших с них осуждающего взгляда.

Девочки не ходили смотреть драки (это считалось слишком грубым зрелищем для их утонченных натур), но они следили за ходом событий издали и, как рассказывала мне Мэгги Муллигэн, от волнения ругались не хуже мальчишек.

Мэгги всегда приходила на драку. На этот раз она пошла на выгон Джексона вместе с толпой моих сторонников. Она воспользовалась случаем, чтобы быстрым шепотом засвидетельствовать мне свою преданность.

— Если он побьет тебя, я побью его сестру. Едва ли можно было красноречивей выразить свою приверженность.

Полный веры в себя, я сказал ей:

— Я исколочу его так, что только мокрое место останется... о

Исход боя не вызывал у меня сомнения. И был, скорей, заинтересованным наблюдателем, чем главным действующим лицом события, к которому так энергично готовились мои сторонники. Уже с самого начала было ясно, кто за кого «болеет». Каждому из ребят был задан вопрос, на чьей он стороне, и голоса разделились примерно поровну.

Стив Макинтайр сначала отнесся с презрением к моему предложению драться на палках, но оно было встречено мальчиками с таким восторгом, что отказаться он не мог, особенно после того, как я обличил его в трусости и «заклеймил его трусом», то есть три раза ударил по плечу, пропев при этом:

— Раз-два-три, меня боишься ты!

Итак, порешили драться на палках, и Фредди Хоук вырезал мне такую палку, что просто загляденье. Он тоном знатока сообщил мне, что выбрал акацию, которой не касались жуки-короеды. Палка была в три фута длиной и имела утолщенный конец.

— Держи ее за тонкий конец, — распоряжался Фредди. — Размахнись ею так, словно хочешь ударить корову. Стукни его сначала по уху, а затем по носу.

Я слушал Фредди с почтением, твердо уверенный в том, что нет на свете вещи, которой он не знал бы.

— Ухо — хорошее место для удара, — соглашался я.

Шпионы переносили сведения из одного лагеря в другой, и оказалось, что Стив собирается бить сверху вниз, «как рубят дрова».

— Все кончится в два счета, — хвастал он, — я тресну его, а он треснется о землю.

Фредди встретил это сообщение из достоверного источника презрительным возгласом:

— Черта с два! Что, Алан будет, по-вашему, сидеть сложа руки?

Мои секунданты Фредди и Джо Кармайкл измерили длину палок, чтобы ни одна сторона не имела преимущества.

Когда мы все собрались наконец у большого пня на выгоне Джексона, приверженцы Стива окружили его плотным кольцом. Мэгги Муллигэн заявила, что, по ее мнению, Стив не прочь бы покинуть поле боя. Фредди с ней не соглашался.

— Лучше всего он будет драться, когда заревет, а пока он реветь и не думает, — сказал мне Фредди.

Собираясь сесть напротив меня, Стив снял свою куртку, закатал рукава рубашки и поплевал на руки. Это произвело впечатление на всех, кроме Мэгги, которая нашла, что он «фасонит».

Я не снял своей курточки: на рубашке моей было немало дыр, и я не хотел, чтобы их видела Мэгги Муллигэн. Но я тоже поплевал на руки, показывая, что и мне знакомы правила, затем сел, скрестив под собой ноги, на манер чернокожего, и взмахнул своей палкой, разрезая воздух, точь-в-точь как мистер Тэкер тростью.

Перестав плевать на руки, Стив уселся напротив меня, но вне досягаемости моей палки, и его заставили придвинуться поближе. Я примерился, могу ли дотянуться до его головы, и, без труда дотянувшись, объявил, что готов к бою. Стив тоже сказал, что он готов, и Фредди преподал нам последние наставления.

— Помните, — говорил он, — обо всем, что произойдет, — ни слова

Тэкеру.

Все обещали ничего не говорить Тэкеру, и Фредди дал команду:

— Начинай!

И в ту же секунду Стив ударил меня палкой по голове. Удар пришелся по волосам, затем палка скользнула по щеке и содрала кожу. Это было так неожиданно, что Стив успел ударить меня еще раз по плечу, прежде чем я сообразил, что бой уже начался. И тогда в слепой ярости я стал наносить удары, которыми, по словам Мэгги, можно было бы свалить быка.

Стараясь увернуться от них, Стив откинулся на спину, но я наклонился вперед и продолжал колотить его, пока он пытался откатиться в сторону. Из носа у него пошла кровь, и он так заорал, что я остановился в нерешительности, но Фредди Хоук крикнул:

— Кончай с ним!

И я начал снова наносить удары, приговаривая после каждого: «Хватит с тебя? Хватит с тебя?» — пока наконец сквозь рев Стива до меня не донеслось его «хватит!».

Джо Кармайкл подошел ко мне с костылями, и Фредди помог мне подняться: я дрожал, как молодая лошадь,

Все лицо у меня было изодрано, так что к нему было больно прикоснуться, а на голове вспухала шишка.

— Я побил его, правда? — сказал я.

— Ты его здорово отделал, — ответила Мэгги и, наклонившись ко мне, с беспокойством спросила: — А как твоя «плохая» нога?

Отец с матерью ждали меня у калитки. Отец, делая вид, что чинит ее, выждал, пока ребята пройдут, затем быстро подошел ко мне и, сдерживая волнение, спросил:

— Ну, как дела?

— Я побил его, — сказал я, и мне почему-то захотелось плакать.

— Молодец! — похвалил меня отец и с тревогой посмотрел на мое лицо. Здорово он тебя изуродовал. Вид у тебя такой, словно ты побывал под молотилкой. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо.

Он протянул мне руку.

— Пожми ее, — сказал он. — У тебя сердце быка. Пожав мне руку, он сказал:

— Твоя мать тоже хочет пожать ее.

Но мама просто крепко обняла меня.

На другой день мистер Тэкер взглянул на мое лицо, вызвал меня к доске и избил тростью; затем он избил Стива.

Я помнил слова отца о том, что у меня сердце быка, и не заплакал.

Глава 17

Джо Кармайкл жил неподалеку от нас. После школы мы почти не расставались. По субботам всегда охотились вместе, в будни по вечерам ставили капканы и каждое утро чуть свет ходили проверять их. Мы знали названия всех птиц, обитавших в наших зарослях, знали их повадки, знали, где находятся их гнезда, и каждый из нас обладал коллекцией яиц, которая хранилась в картонной коробке, наполовину засыпанной отрубями.

У Джо было свежее, румяное лицо, и его застенчивая улыбка располагала к нему взрослых. Здороваясь с женщинами, Джо снимал шапку и всегда готов был услужить любому человеку. Он никогда ни с кем не бранился, но, высказав суждение, упрямо держался его, хотя и не отстаивал.

Отец Джо служил у миссис Карузерс, выполняя разные работы в имении; каждое утро на заре он проезжал мимо наших ворот на лошадке, по кличке Тони, и каждый вечер с наступлением темноты возвращался верхом домой. У него были рыжеватые усы. Отец говорил, что это самый честный человек в округе. Миссис Карузерс платила ему двадцать пять шиллингов в неделю, но пять удерживала в счет арендной платы. Кармайкл снимал у нее домик с участком земли в один акр и держал корову.

Миссис Кармайкл была маленькой худенькой женщиной с гладко причесанными волосами, которые, как два плотных крыла, расходились над ушами и затем соединялись в пучок на затылке. Она стирала белье в ушатах, сделанных из половинок бочек, и всегда напевала во время стирки одну и ту же мелодию, простую и нежную, как спокойная радость. В летние вечера, когда я выходил из рощи, направляясь к дому Джо, эта мелодия летела мне навстречу, точно приветствуя меня, и я всегда останавливался послушать.

Когда мы собирали грибы, миссис Кармайкл делала из них соус. Она раскладывала грибы ровными рядами на подносе, посыпала их солью, и через некоторое время на шляпках грибов собирались розовые капельки сока — так рождался соус.

Она держала кур, уток, гусей и поросенка. Когда поросенок вырастал, мистер Кармайкл забивал его, опускал в лохань с горячей водой, соскабливал щетину, солил и потом вешал в маленьком шалаше из мешковины. На полу шалаша он разжигал костер из зеленых веток, и изо

всех щелей начинал валить дым. После этого поросенок превращался в ветчину, и мистер Кармайкл всегда угощал моего отца, который уверял, что никогда в жизни не пробовал такой вкусной ветчины.

Когда я приходил, миссис Кармайкл неизменно улыбалась мне и говорила:

— А, это снова ты? — И добавляла: — Обожди минутку, сейчас я дам вам с Джо по куску хлеба с повидлом.

Она, казалось, никогда не замечала моих костылей. За все годы нашего знакомства она ни разу не упомянула о них. Она никогда не смотрела ни на них, ни на мои ноги, ни на спину. Она всегда смотрела на мое лицо.

Она говорила со мной так, словно не знала, что я не ногу бегать, как другие ребята.

«Сбегай, приведи Джо», — обращалась она ко мне; или: «С вашими кроликами и разными затеями вы с Джо избегаетесь до того, что от вас только кожа да кости останутся. Сейчас же садитесь, поешьте чего-нибудь».

Я часто мечтал о том, чтобы у них случился пожар: тогда я мог бы кинуться в пылающий дом и спасти ей жизнь.

У Джо был братишка Энди — такой маленький, что он еще не ходил в школу, и Джо должен был приглядывать за ним. Мы с Джо считали это тяжелой обязанностью.

Белоголовый Энди умел бегать, как кенгуровая крыса, Джо только и занимался тем, что ловил его. Энди был увертлив, как заяц. Он очень гордился своим; проворством и иногда нарочно швырял в Джо коровий навоз, чтобы заставить старшего брата погоняться за ним. Джо бегал плохо, но, раз погнавшись за кем-нибудь, он бежал не останавливаясь, как собака, идущая по следу. Но когда, измотав Энди, Джо готовился схватить его, малыш испускал такой отчаянный вопль, что мать стремглав прибегала из прачечной.

— Что ты там еще затеял? — восклицала она. — Оставь малыша в покое. Он тебя не трогает.

Услышав голос матери, Джо вздрагивал, как испуганная лошадь, а Энди, ухмыляясь, убегал и откуда-нибудь из-за дерева начинал дразнить Джо.

Однако, когда Джо хотелось надрать Энди уши, он ухитрялся ловить брата далеко от дома. Правда, рев Энди слышен был за полмили, и Джо приходилось уводить его в сторону от дома, пока малыш не успокаивался.

— С этим Энди только возня и хлопоты, — часто говаривал Джо.

Но если кто-нибудь осмеливался сказать хоть слово против Энди, Джо начинал хорохориться и приплясывать, как призовой петух.

У Джо были две собаки — Дамми и Ровер. Дамми — чистокровная желтая борзая — была труслива и всегда визжала, если ей нажимали на спину. Джо объяснял это тем, что когда-то Дамми попала под колеса брички и никак не может это забыть.

— Если бы Дамми не попала под колесо, — уверял Джо, — ей ничего не стоило бы выиграть кубок Ватерлоо.

Впрочем, в зарослях Дамми бегала великолепно, и мы с Джо любили похвастать ею, когда в школе заходил разговор о собаках.

Ровер был дворняжкой. Виляя хвостом, он открывал белые зубы, когда с ним разговаривали, валился на спину и, весь извиваясь, изъяслял свою преданность. Мы были высокого мнения о Ровере.

Я никогда не брал с собой на охоту Мэг, но у меня была кенгуровая собака, по имени Спот. Спот не так быстро, как Дамми, но лучше умел пробираться сквозь кустарник, и ноги у него были крепче. Как-то, когда Спот был еще щенком, старый самец кенгуру потрепал его, и с тех пор Спот всегда боялся кенгуру. Но он прекрасно охотился на кроликов.

С тремя собаками, которые трусили впереди, обнюхивая траву, деревья и кусты, мы с Джо каждую субботу после полудня отправлялись на поиски кроликов и зайцев. Шкурки мы продавали бородатому скупщику, обычно раз в неделю подъезжавшему на своем фургоне к дому Джо. Вырученные деньги мы складывали в консервную банку. Мы копили их на покупку «Книги о птицах» Лича, которая казалась нам самой замечательной книгой на свете.

— Библия, наверно, лучше, — как-то заколебался Джо.

Временами он бывал настроен религиозно.

За мелким кустарником вокруг болот шла полоса леса, а за ним начинались луга, выгоны для скота фермеров, где всегда можно было поднять зайца.

Во время этих охотничьих экспедиций Джо приноравливал свой шаг к моему. Когда зуйки с предостерегающими криками поднимались из высоких трав, Джо не бросался вперед на поиски их гнезд; он продолжал идти рядом со мной. Он никогда не лишал меня радости сделать открытие. Если Джо раньше меня замечал сжавшегося в комочек зайца, притаившегося в своем убежище, он старался привлечь мое внимание беззвучным движением губ, отчаянными жестами, заменявшими настойчивые призывы поторопиться. И я спешил к нему на своих костылях, поднимая и опуская их с преувеличенной осторожностью, так, чтобы продвигаться совершенно бесшумно. Потом мы вдвоем наблюдали за зайцем, который сидел скорчившись, пригнав уши к спине, вперив в нас

выпученные, испуганные глаза. Услышав приближавшихся собак, заяц еще плотнее прижимал уши к сгорбленной спине и только наш крик заставлял его одним прыжком выскочить из своего убежища и молнией броситься к видневшемуся вдали пригорку, покрытому высокой травой.

— Мы здесь обязательно найдем зайца, — сказал я, когда однажды солнечным утром мы с Джо, захватив еду, пробирались через пушистую траву. За нами по пятам шел Энди. — Их тут сотни, это сразу видно. Покличь Дамми. А ты отойди назад, Энди.

— Я хочу с вами! — строптиво заявил Энди.

— Не трогай его, пока у нас дело не пойдет на лад, — предупредил меня Джо. — Если он начнет реветь, то распугает всех зайцев на много миль вокруг.

Энди слушал с явным удовольствием.

— Нигде не останется ни одного зайца, — подтверждал он, кивая головой.

Бросив на Энди оценивающий взгляд, я решил не настаивать.

— Ладно, — сказал я, — пойдём со мной, Энди. Я иду на пригорок, чтобы они не могли улизнуть через дыру в изгороди Бэкера. Джо их поднимет. Не пускай собак, Джо, пока я не крикну: «Готово!»

— Сюда, назад! — заорал Джо на Ровера. Ровер подполз к ногам Джо и перевернулся на спину, моля о прощении.

— Вставай! — резко прикрикнул Джо.

— Пошли, Энди! — скомандовал я малышу.

— Да, иди с Аланом, Энди, — сказал Джо. Он был рад избавиться от брата.

Когда мы подошли к изгороди из колючей проволоки, тянувшейся вдоль пригорка, я заставил Энди сесть рядом с маленькой круглой дырой в проволочной сетке. По краям дыры к шипам прилипли коричневые волоски.

— Сиди тут, Энди, — сказал я, — и зайцы не смогут проскочить.

— Они могут напасть на меня! — У Энди были свои сомнения относительно мудрости этого плана.

— Не болтай глупостей! — Энди раздражал меня. — Подымай зайцев, Джо! крикнул я, отойдя немного назад. — Я заткнул дыру твоим братцем.

— А ну, возьмите их! — приказал Джо собакам.

Ровер, который всегда первым находил зайца или кролика, неожиданно стряхнул с себя личину смирения и, полный воинственного задора, ринулся вперед. Он бросился в густую траву, по пятам за ним следовали Дамми и Спот, то и дело подпрыгивавшие выше самых высоких стеблей. Собаки

бежали, вытянув шеи, все время поворачивая головы в разные стороны, обнюхивая тропки, стараясь заметить мелькнувший мех испуганного зайца.

Вдруг Ровер залаял и метнулся к кусту, из которого грациозным прыжком выскочил заяц. Это был уже не жалкий, трусливо съежившийся в траве зверек. Теперь уши зайца стояли торчком, он бежал уверенно. Сделав три прыжка, чтобы размяться, он, стелясь по земле, помчался к дыре в изгороди на пригорке,

Дамми, чувствуя морду Спота у самого бедра, бросилась молча за зайцем, выгнувшись наподобие лука. Тело собаки сгибалось и выпрямлялось при каждом прыжке; голова, не участвовавшая в этих движениях, была со страшной целеустремленностью вытянута вперед. Первые несколько ярдов Дамми двигалась судорожными скачками с огромным усилием, потом она развила свою нормальную скорость и побежала легко и ритмично.

Сзади нее, совсем близко, бежал Спот, дальше с лаем и визгом неся длинношерстный взлохмаченный Ровер, Стараясь не потерять из виду головных собак, он продирался сквозь густую траву так, словно она нарочно мешала ему.

Заяц, уверенный в спасении, еще не напрягал всех сил и бежал по тропинке, высоко подняв голову с торчащими вверх длинными ушами. Он по-прежнему иногда подпрыгивал для разведки, но около дыры увидел нас с Энди, услышал наш крик, в испуге быстро свернул и сразу опустил уши, стараясь стать незаметнее, укрыться в траве. Дамми, следовавшую по пятам за зайцем, на повороте отбросило в сторону, и целый дождь гравия обрушился на матросскую курточку Энди и его руку, которой он заслонил лицо.

Спот, отставший было от Дамми, вырвался вперед, чтобы покончить с зайцем, но тот увернулся, бросился назад и проскользнул между двумя собаками. Дамми, оправившись от неудачного маневра, помчалась вдогонку и, настигнув зайца, уже раскрыла пасть, чтобы схватить его. Но заяц снова увернулся и, теперь уже перепуганный насмерть, бросился напрямик через луг: обе собаки мчались за ним.

— Держи! Лови его! — кричал я, прыжками передвигаясь по траве.

Джо бежал наперерез, испуская отчаянный крик:

— Дай ему, песик! Дай ему!

В центре выгона Дамми снова едва не поймала зайца, потом Спот, срезав угол, помчался прямо на него, но заяц увернулся, а Спота, бежавшего с огромной скоростью, отбросило в сторону. Заяц, спасаясь, бросился через луг к кустарнику; Дамми летела за ним, с каждым скачком

нагоняя его.

Спот наперерез помчался к кустарникам, и, пока Дамми огибала их, Спот, не уменьшая скорости, вслед за зайцем углубился в заросли папоротника и кустов.

— Он там потеряет зайца, — тяжело дыша, прошептал Джо, подбегая ко мне.

Мы молча вглядывались заросли; вдруг из глубины их раздался громкий визг и сразу стих.

— Спот напоролся! — в страхе воскликнул я, глядя на Джо и надеясь, что он найдет какое-нибудь другое объяснение.

— Похоже на то, — проронил Джо.

— Он убьется насмерть, — прошептал Энди плаксиво.

— Ты-то помолчи! — огрызнулся Джо.

Мы долго искали в кустах, пока наконец не нашли Спота. Он лежал среди папоротников, залитый кровью; сук, на который он напоролся, тоже был в крови: острый, как кинжал, он был весь скрыт папоротником.

Мы прикрыли Спота ветками кустарника так, чтобы его совсем не было видно, потом пошли домой, и я не плакал до тех пор, пока не нашел отца в сарае с конской сбруей и не рассказал ему все.

— Это тяжело, — сказал отец. — Я понимаю. Но Спот не узнал, что его убило.

— Ему было больно? — спросил я со слезами.

— Нет, — уверенно ответил отец. — Спот ничего не почувствовал. Где бы он сейчас ни был, ему все еще кажется, что он бежит. — Отец в раздумье посмотрел на меня и добавил: — Спот огорчился бы, если бы узнал, как ты расстроен тем, что он спит в зарослях среди папоротников.

Когда отец произнес эти слова, я перестал плакать.

— Это просто потому, что мне будет не хватать его, — объяснил я.

— Я знаю, — ласково сказал отец.

Глава 18

Каждый день после школы Джо выгонял уток и гусей своей матери на пруд за четверть мили от дома и каждый вечер пригонял их обратно. Они двигались неровной белой шеренгой впереди Джо, оживленные, нетерпеливые, предвкушая предстоящее удовольствие. Миновав последние деревья, они прибавляли шагу и начинали кричать, а Джо усаживался на траву.

Я почти всегда сопровождал его. Мы сидели рядом, с интересом наблюдая, как утки, опустив грудку, уходили в воду, потом скользили по поверхности пруда, а мелкие волны слегка ударяли и покачивали их. Доплыв до середины, они потягивались, хлопали крыльями, затем вновь усаживались на воду, с удовлетворением двигая хвостом и всем телом, прежде чем пуститься на поиски улиток и личинок, населявших пруд.

Джо полагал, что в пруду можно найти все, что угодно, но я этого не думал.

— Никогда нельзя сказать наверняка, что там есть! — задумчиво говорил Джо.

В ветреные дни мы сажали целые команды муравьев в банки из-под консервов и отправляли их в дальнейшее плавание через пруд, иногда мы сами пускались вброд вдоль берега, разыскивая тритонов, этих странных, похожих на креветки существ с двигающимися жабрами.

Джо знал о тритонах много интересного.

— Они очень нежные, — говорил он. — Сразу умирают, если посадить их в бутылку.

Меня интересовало, куда же они деваются, когда пруд высыхает.

— А бог их знает! — говорил Джо.

Пока утки наслаждались, мы бродили по зарослям, разыскивая птиц, а если дело было весной, лазили на деревья за яйцами.

Я любил взбираться на деревья. Все, в чем я видел вызов своим силам, возбуждало меня, и я пытался совершать то, что Джо, которому не надо было доказывать свою физическую выносливость, вовсе не был расположен делать.

Лазая по деревьям, я пользовался только руками — ноги мои были почти бесполезны. Когда я подтягивался с ветки на ветку, «плохая» нога беспомощно болталась, а на «хорошую» можно было только опираться, пока руки схватывали верхнюю ветку.

Я боялся высоты, но преодолевал страх, избегая смотреть вниз, если в этом не было прямой необходимости.

Я не мог, как другие мальчишки, по-обезьяньи карабкаться по стволу, но умел на одних руках подниматься по веревке. Если нижние ветви дерева были слишком высоки для меня, Джо перебрасывал веревку через одну из них, и я подтягивался на руках до первого сука.

Если я взбирался на дерево в ту пору, когда сороки откладывали яйца, Джо обычно стоял под деревом и предостерегающе кричал, когда птицы готовились напасть на меня. Я карабкался по качающейся на ветру ветви, прижимая к ней лицо, и медленно подползал через развилины по буграм

отставшей коры к темному круглому пятну, выделяющемуся на фоне неба среди листвы. Услышав крик Джо: «Берегись, вот она!» — я останавливался и, держась одной рукой, начинал отчаянно размахивать другой над своей головой, ожидая шума крыльев, резкого щелканья клюва и затем удара ветра в лицо, когда сорока вновь взлетала ввысь.

Если можно следить за птицами, не упуская их из поля зрения, когда они, скользя, ныряют вниз, — еще полбеды; тогда при их приближении нетрудно ударить их, и они сразу улетают, быстро взмахивая крыльями, успев лишь с яростью клюнуть тебя в руку; зато если ты находишься к ним спиной и руки нужны, чтобы держаться, то птице ничего не стоит сильно ударить тебя клювом или крыльями.

Когда это со мной: случалось, снизу раздавался полный тревоги голос Джо:

— Она тебя ударила?

— Да.

— Куда?

— В голову, сбоку.

— Кровь идет?

— Не знаю. Подожди, я ухвачусь покрепче и посмотрю.

Через минуту, освободив одну руку, я ощупывал ноющую голову и затем осматривал пальцы.

— Идет! — кричал я Джо, довольный и в то же время испуганный.

— Черт! Но тебе уже немного осталось. Не больше ярда... Вытянись...

Чуть дальше... Нет... Немного вправо... Готово!

Я засовывал теплое яйцо в рот, спускался вниз, и мы, сблизив головы, рассматривали его на моей ладони.

Иногда я срывался, но обычно нижние ветви смягчали падение, и я никогда не ушибался сильно.

Однажды, взбираясь на дерево вместе с Джо, я, намереваясь схватиться за сук, промахнулся и ухватился за ногу Джо. Джо попытался освободиться, но я вцепился в него как клещ, и мы оба, ударяясь о ветви, полетели вниз и так и упали вместе на усыпанную корой землю, поцарапанные, но целые и невредимые.

Этот случай произвел большое впечатление на Джо. Вспоминая о нем, он часто говорил:

— Я никогда не забуду тот проклятый день, когда ты схватил меня за ногу и не хотел отпускать. Зачем ты это сделал? Ведь я кричал: «Отпусти!»

Я не мог дать ему удовлетворительного ответа, хотя чувствовал, что был вправе держаться за Джо.

— Не понимаю, — замечал он в раздумье, — тебе нельзя довериться, когда лезешь на дерево. Провалился я на месте, если это неправда.

Джо постепенно научился относиться философски к тому, что во время наших совместных прогулок я часто падал. Как только я летел лицом вниз, или валился на бок, прежде чем растянуться во весь рост, или хлопался со всего размаха на спину, Джо усаживался и как ни в чем не бывало продолжал разговор, зная, что в течение некоторого времени я останусь лежать.

Я почти всегда чувствовал усталость, и падение являлось для меня предлогом отдохнуть. Лежа на земле, я брал сучок и копался им среди стеблей трав, разыскивая букашек или наблюдая за муравьями, торопливо снующими в туннелях под листьями.

Мы словно не замечали того, что я упал. Это не имело никакого значения, так как входило в процесс моей ходьбы.

— Остаешься жив — и это главное, — однажды заметил Джо, когда мы обсуждали, как и почему я падаю.

Когда я падал «плохо», Джо все равно быстро усаживался на землю. Он не спешил мне на помощь, если я не звал его, — этой ошибки он не совершал никогда. Пока я катался от боли по траве, он бросал на меня лишь один взгляд, потом решительно отводил глаза в сторону и говорил:

— Здорово!

Через минуту, когда я уже лежал спокойно, он снова смотрел на меня и спрашивал:

— Ну как? Пойдем дальше?

О моих падениях он говорил так, как говорят о своем скоте фермеры, когда во время засухи лошади и коровы падают и издыхают на сожженной земле.

— Еще одна корова свалилась, — говорят они. И Джо порой, когда мой отец спрашивал его обо мне, отвечал:

— Он свалился около ручья, а потом не падал, пока мы не дошли до самых камней.

Это был год большой засухи, и мы с Джо впервые по-настоящему узнали страх, боль и страдания, с которыми раньше никогда не сталкивались. Исходя из собственного опыта, мы считали, что мир — место приятное. Солнце никогда не бывало жестоким, и бог заботился о коровах и лошадях. Если животные страдали, то только по вине человека: в этом мы были твердо уверены. Мы часто размышляли о том, что стали бы делать на месте коровы или лошади, и всегда решали, что перескакивали бы одну за другой все изгороди, пока не очутились бы в таком месте, где

вдруг одни только заросли и ни одного человека; там мы жили бы счастливо до самого конца и умерли бы, покаясь на мягкой зеленой траве в тени деревьев.

Засуха началась из-за того, что осенью не было дождей. Зимой, когда они пошли, земля оказалась слишком холодной, семена не дали ростков, а многолетние травы были все съедены до корней голодным скотом. Весна выдалась сухая, и, когда настало лето, на пастбищах, обычно покрытых зеленой травой, ветер поднимал тучи пыли.

Стада коров и лошадей, оставленных владельцами пастись у широких дорог, опоясывающих округу, бродили по окрестностям в поисках корма. Ломая заборы, они проникали на выгоны, еще более оголенные, чем дороги, чтобы сорвать засохшую былинку или ветку кустарника.

Фермеры не имели возможности прокормить старых лошадей, давно отправленных на покой в дальние выгоны, и не находя в себе мужества пристрелить животных, ставших неотъемлемой частью фермы, выпускали их на дорогу, предоставляя им самим находить корм. Фермеры покупали для них жетоны и считали свой долг выполненным.

Местные власти разрешили пасти на дорогах только скот с медными жетонами на шее; каждый жетон стоил двадцать пять шиллингов и давал право целый год пасти животное у дорог.

Летними ночами, когда лошади и коровы шли па водопой к придорожному водоему, позвякивание цепочек, которыми прикреплялись жетоны, слышалось издалека. Вдоль дорог, разветвлявшихся от места водопоя на протяжении многих миль, бродили небольшие стада коров и табуны лошадей; животные обнюхивали пыльную землю в поисках корней, съедали сухой конский навоз, оставшийся на дороге после лошадей, кормленных сечкой. Каждое стадо держалось обособленно, всегда двигаясь по одним и тем же дорогам, всегда обшаривая одни и те же лужайки. По мере того как засуха продолжалась и жара делалась все более невыносимой, стада и табуны становились все малочисленные. Каждый день слабейшие спотыкались и падали, а другие обходили облако пыли, указывавшее на тщетные усилия животного подняться; оставшиеся в живых все шли и шли, медленно волоча ноги, опустив головы, пока жажда не заставляла их повернуть и снова пуститься в долгий обратный путь к месту водопоя.

Вдоль дорог, по которым двигался скот, на ветвях эвкалиптов покачивались сороки, разевая клювы; вороны, завидя умирающее животное, собирались стаями, каркая и кружась; и над всем этим, над лишенной травы землей, застилая горизонт, висела угрожающая завеса

лесного пожара, стоял запах горящих эвкалиптовых листьев.

Каждое утро фермеры обходили свои выгоны, поднимая упавших животных.

— Я потерял еще трех прошлой ночью, — говорил отцу проходящий мимо фермер. — Сегодня, верно, еще пара свалится.

Целые стада молочного скота погибали на арендованных выгонах. Коровы лежали на боку, и земля у их копыт была вся в серпообразных выбоинах свидетельство тщетных попыток животных подняться. День за днем под палящим солнцем они силились встать... а пыль висела над ними и растворялась в воздухе. И далеко за выгоном слышалось их тяжелое дыхание и глубокие вздохи, порой тихие стоны.

Фермеры, надеясь на дождь, ожидая чуда, которое спасет их, так и оставляли животных лежать по многу дней. Когда уже видно было, что корова вот-вот умрет, хозяин ударами убивал ее и переходил к более выносливым животным, которые делали тщетные попытки встать, то и дело поднимая и снова роняя тяжелую голову, широко открывая немигающие глаза.

Фермеры обвязывали этих коров веревками, поднимали их с помощью лошадей, подпирали с боков досками, поддерживали их в вертикальном положении своими сильными плечами, пока животное не оправлялось настолько, чтобы стоять самостоятельно и прожить еще день.

Мужчины, прислонившись к воротам, глядели на пылающие солнечные закаты, а за спиной у них стояли открытые настежь сараи с пустыми кормушками; за постройками на выгонах чернела оголенная земля. В часы, когда привозили письма и газеты, фермеры собирались у здания почты, рассказывали друг другу о своих потерях, обсуждали, как достать денег, чтобы купить сена, как продержаться до дождей.

Отец переживал трудные дни. Он как раз объезжал несколько лошадей миссис Карузерс, и они находились у нас все время. Миссис Карузерс присылала сечку для прокорма животных. Раз в неделю Питер Финли оставлял четыре мешка у наших ворот; отец брал пригоршню сечки, пересыпал из одной руки в другую, выдувая ртом солому, пока на ладони не оставалась маленькая горстка овса. Чем больше оказывалось овса, тем довольнее был отец...

— Хороший корм, — говорил он.

Наполняя из мешка ведра, сделанные из керосиновых бидонов, он просыпал много сечки на пол сарая. Каждый вечер приходил отец Джо с кухонной щеткой и сумкой для отрубей, тщательно сметал всю сечку с пола и уносил домой. Он старался хоть как-нибудь прокормить свою корову и

лошадь. Сечка стоила фунт стерлингов за мешок, да и то достать ее было трудно, а отец Джо получал всего один фунт в неделю и, конечно, не мог покупать корм по такой цене. Джо ходил в заросли за травой, росшей на болотах, но болота высыхали, и трава вскоре исчезла.

Мы с Джо все время говорили о лошадях, которые лежали на земле. Мы терзали себя мучительными описаниями медленных смертей на выгонах, в зарослях, везде вокруг нас.

По какой-то необъяснимой причине смерть животных на выгонах не действовала на нас так удручающе, как смерть бродячего скота. Лошади и коровы на дорогах казались нам одинокими, покинутыми, обреченными на смерть, тогда как животные на выгонах имели хозяев, которые заботились о них.

Душными летними вечерами, когда небо долго после захода солнца оставалось красным, мы с Джо отправлялись к водоему у дороги смотреть, как животные шли на водопой. Лошади появлялись раз в двое суток, так как могли прожить два дня без воды, коровы приходили каждый вечер, но постепенно они умирали неподалеку от места водопоя, потому что они были не в состоянии заходить так далеко, как лошади.

Однажды вечером мы сидели, наблюдая закат и ожидая лошадей. Дорога шла прямо, между высокими деревьями, потом по открытому полю и исчезала за пригорком. На пригорке высились засохшие эвкалипты, силуэты их четко вырисовывались на фоне багрового неба. Самые сильные ветры не могли привести в движение их мертвые ветви, никакая весна не в силах была покрыть их листьями. Они стояли в мертвой неподвижности, указывая костлявыми пальцами на багровое небо. Вскоре из-за пригорка, на котором застыли эвкалипты, появились лошади; поравнявшись с деревьями, они направились в нашу сторону, позвякивая шейными цепочками, цокая копытами о камни.

Их было около двадцати — старых и молодых; они шли спотыкаясь, опустив голову. Но вот они почуяли воду и, приободрившись, затрусили рысцой. Теперь они старались держаться подальше друг от друга: одна лошадь, споткнувшись, могла увлечь за собой и других, а если они падали, то больше не поднимались.

Ни одна из этих лошадей не ложилась уже многие месяцы. Часть из них шла ровной рысью, некоторые неуклюже раскачивались на ходу, но каждая старалась сохранять расстояние между собой и другими.

Завидя водоем, они заржали и побежали быстрее. Вдруг гнедая кобыла, у которой крестец торчал так, что мне казалось, он вот-вот прорвет ее сухую кожу, а все ребра можно было пересчитать, остановилась и

зашаталась. Ноги ее подогнулись... Она не споткнулась, нет, — она рухнула, вытянувшись слегка вперед, ударившись мордой о землю, и уже потом перекатилась на бок.

С минуту она лежала неподвижно, затем сделала отчаянную попытку подняться. Она встала на передние ноги, чтобы подняться совсем, напряглась, силясь поставить и задние, но они подкосились, и лошадь опять упала на бок. Мы побежали к ней, а она подняла голову и посмотрела в сторону воды. И когда мы стояли рядом с ней, лошадь продолжала глядеть все туда же.

— Слушай! — закричал я Джо. — Мы должны поднять ее! Ей нужно только напиться, и она оправится. Посмотри на ее бока. Она высохла, как кость. Возьмем ее за голову.

Джо встал рядом со мной. Мы подсунули руки под шею лошади и попытались поднять ее, но она лежала неподвижно и тяжело дышала.

— Пусть отдохнет немного, — посоветовал Джо. — Может, тогда она встанет.

Мы стояли рядом с ней в сгущающихся сумерках и ни за что не хотели примириться с тем, что она должна умереть. Мы были взволнованы и раздражены безвыходностью положения. Нам хотелось уйти домой, но мы боялись расстаться: тогда каждый остался бы в одиночество и мучился бы, думая, как она умирает тут в темноте.

Вдруг я схватил ее за голову. Джо ударил по крупу. Мы начали на нее кричать. Она попробовала было встать, потом снова упала. Тяжелый стон вырвался из ее груди, и голова лошади опустилась на землю.

Мы не могли этого выдержать.

— Куда всех черти унесли! — сердито закричал Джо, глядя по сторонам на пустынную дорогу, как бы ожидая, что вот-вот появятся дюжие фермеры с веревками и бросятся к нам на помощь.

— Надо напоить ее, — сказал я в отчаянии. — Пойдем за ведром.

— Я схожу, — сказал Джо. — Жди меня здесь. Где оно?

— В сарае, где корм.

Джо побежал к нашему дому, а я сел на землю возле лошади. Было слышно, как жужжат комары и гудят, пролетая, большие жуки. Летучие мыши шуршали над деревьями. Остальные лошади напились и медленно прошли гуськом мимо меня, направляясь к какому-то далекому месту, где еще торчали клочья травы. Это были живые скелеты, обтянутые шкурой, и, когда они шли мимо, до меня донесся запах их дыхания — затхлый запах плесени.

Джо принес ведро, и мы наполнили его у водоема, и оно оказалось

слишком тяжелым, и Джо один не мог справиться, так что мне пришлось ему помогать. несли ведро рывками по ярду зараз. Схватившись вместе за ручку, мы, размахнувшись, ставили его на ярд вперед, потом, поравнявшись с ведром, снова переставляли его; повторив это движение раз двенадцать, мы подошли к кобыле.

Мы слышали, как она заржала от жажды при нашем приближении. Когда мы поставили перед ней ведро, она погрузила голову глубоко в воду и начала втягивать ее в себя с такой силой, что уровень воды вокруг ее морды стал быстро падать, и через минуту ведро было пустым. Мы принесли ей еще одно, она осушила и его, потом еще... Тут я совсем лишился сил. Я упал и не смог встать. Я лежал около лошади в полном изнеможении.

— Черт возьми! Того и гляди, мне придется таскать воду для тебя, сказал Джо.

Он сел подле меня и стал смотреть на звезды; долго сидел он так, молча и не двигаясь. В тишине мне слышно было лишь глубокое, болезненное дыхание лошади.

Глава 19

Как-то в субботу, стоя у ворот, я наблюдал за Джо, который бежал через лес к нашему дому. Он бежал, пригнувшись, втянув голову в плечи, прячась за деревьями, и все время оборачивался назад, как будто за ним гнались разбойники.

Обойдя старый эвкалипт, он лег плашмя па живот, притаился и стал поглядывать из-за ствола в ту сторону, откуда только что появился сам. Вдруг он распластался на земле, как ящерица, и я увидел, что по тропинке бежит Энди.

Энди не прятался за деревьями. Он бежал прямо, твердо зная зачем и не думая скрывать свою цель.

Джо, извиваясь, пополз вокруг дерева, чтобы ствол был между ним и Энди. Но Энди хорошо знал тактику Джо и направился прямо к эвкалипту.

Джо встал из-за ствола и с притворным удивлением заговорил:

— Это ты, Энди? Вот здорово! А я тебя как раз поджидал!

Но это не обмануло Энди — при появлении Джо он с большим удовлетворением воскликнул:

— Ага, попался!

Джо и я сговорились встретиться с Ябедой Бронсоном и Стивом

Макинтайром у подножия горы Туралла. Мы взяли с собой собак, так как на ее склонах, поросших папоротником, часто показывались лисицы, но шли мы туда, чтобы скатывать камни в кратер.

Большие камни, которые мы сталкивали с его края, с грохотом летели по крутому склону, высоко подпрыгивая, наталкиваясь на деревья и оставляя за собой полосу сломанного кустарника и папоротника. Достигнув дна, камни продолжали подскакивать и, прежде чем остановиться, вкатывались на несколько футов вверх по противоположному склону.

Подъем на гору был для меня изнурительным путешествием. Мне нужны были частые передышки, которые я всегда делал, когда мы с Джо гуляли вдвоем, но, когда с нами шли другие ребята, они нередко ворчали: «Тебе что, опять нужно останавливаться?»

Иногда они не хотели ждать, и, когда я добирался до вершины, радость, вызванная первым сброшенным камнем, уже проходила, и торжествующие восклицания замирали.

Я старался выгадать минуту для отдыха, занимая чем-нибудь внимание своих спутников. Указывая на тропку среди папоротников, я восклицал:

— Пахнет лисицей. Должно быть, только что пробежала. Джо, скорей за ней!

Пока обсуждался вопрос, стоит ли идти по следу, время шло и я получал необходимую передышку.

Когда мы пришли к купе акаций, где условились встретиться, Бронсон и Стив стояли на коленях у кроличьей норы. Глаза их были прикованы к хвосту и задней части туловища Тайни — австралийского терьера, принадлежавшего Бронсону. Голова, плечи и передние ноги Тайни были в норе, и он яростно рыл там землю.

— А вы видели — есть там хоть один? — спросил Джо с авторитетным видом эксперта, опустившись на колени впереди ребят.

— Ну-ка! Пусти! — Он схватил Тайни за задние ноги.

— Вытащи его, и мы посмотрим, что там есть, — заметил я с не менее деловитым видом, чем Джо.

— Только дурак полезет руками в нору: там змеи, — сказал Стив, поднимаясь и отряхивая песок с колен, как будто у него пропал всякий интерес к норе. Он так и не простил мне победы в нашей драке на палках.

— Кто боится змей! — воскликнул я с презрением, ложась на бок и засовывая руку в нору, пока Джо держал сопротивляющегося Тайни.

— Вот, достал до самого конца, — с пренебрежением объявил я,

втиснув плечо в отверстие.

— В этой норе давно никто не живет, — определил Джо.

Он отпустил Тайни, и тот нырнул в дыру, как только я вытащил руку. Обрубок его хвоста перестал дергаться, собака трижды громко втянула воздух в ноздри, затем выскочила из норы и вопросительно посмотрела на нас.

— Пошли, — сказал Стив. — Пора двигаться дальше.

— Где Энди? — спросил Джо.

Энди сидел на земле между Даыми и Ровером, ища блох у Ровера; последний покорно переносил эту операцию, подняв морду словно замороженный.

— Зачем ты взял с собой Энди? — со страдающим видом упрекнул Джо Ябеда Бронсон.

Энди быстро поднял глаза на брата, ожидая удовлетворительного объяснения своего присутствия.

— Взял, и все! — резко ответил Джо.

Он никогда не тратил времени на Бронсона. «Как посмотрю на него, так и хочется его стукнуть», — часто говорил Джо, и эта фраза выражала его мнение о Ябеде.)

Мы шли по опоясывающей склон горы узкой тропинке. Взбираться по ней мне было трудно. По сторонам ее рос густой папоротник, который оказывал упорное и решительное сопротивление каждому взмаху моих костылей. Когда я ходил по зарослям, я всегда выбирал широкую тропу, но на горе Туралла были лишь узкие тропки, заросшие высоким папоротником. Один костыль я ставил на тропу, а ноги и другой костыль пробивали себе путь между растениями.

Я никогда не принимал в расчет свои ноги; проход для них был не нужен. Я опирался всей тяжестью на «хорошую» ногу лишь на мгновение перед тем, как обе ноги вновь летели вперед, но сама почва, на которую я ставил костыли, и разные препятствия имели большое значение. Я падал потому, что костыль соскальзывал, попадая концом на камень, или запутывался в траве и папоротниках, но, если мои ноги за что-нибудь цеплялись, я не падал.

Когда Джо впервые стал ходить вместе со мной, он не понимал, почему я тащу ноги по папоротникам, а не по открытой тропке рядом. Ему казалось, что ставить на эту тропку один костыль бессмысленно. Он считал, что я должен заботиться о ногах, и часто недоумевал:

— Почему ты не идешь по тропинке, там, где легче? После того как я объяснил ему, он произнес только:

— Вот как! — и больше никогда не говорил об этом.

Мои стратегические маневры, имевшие целью помешать Бронсону и Стиву подняться на гору без передышки, увенчались успехом, и до вершины мы добрались все вместе. Там дул сильный ветер, не встречавший на своем пути никаких препятствий, и мы с удовольствием подставили ему грудь, оглашая воздух громкими криками, которые эхом отдавались в кратере, лежавшем перед нами, словно глубокая чаша.

Мы столкнули вниз большой камень и с замиранием сердца стали следить, как он летит по крутому склону. Мне страшно хотелось последовать за ним, увидеть самому, что скрывается среди папоротников и деревьев, растущих на самом дне.

— Говорят, что там внизу есть большая дыра, чуть-чуть прикрытая землей, — сказал я. — И если встать на это место, сразу провалишься в кипящую грязь и во всякую всячину.

— Он же потухший, — сказал Стив с присущим ему чувством противоречия.

— Ну и что! — воинственно возразил Джо. — И все-таки, может быть, дно мягкое и вот-вот провалится. Никто не знает, что там внизу, — закончил он сурово.

— Наверняка внизу когда-то жили дикари, — сказал Бронсон. — Если спуститься туда, можно увидеть их стоянки. Мистер Тэкер раз нашел здесь их топор.

— Подумаешь, — заметил Джо. — Я знаю парня, у которого полдюжины таких топоров.

— Попробую спуститься туда, — заявил Стив.

— Пошли, — подхватил Бронсон. — Это здорово. Я тоже пойду. Пойдем, Джо! Джо посмотрел на меня.

— Я подожду вас, — сказал я.

Склоны кратера были усеяны шлаком и камнями, которые много лет назад, прежде чем затвердели, представляли собой раскаленную кипящую массу. Это были клочья пены, превратившейся в камни — такие легкие, что они не тонули в воде. Местами выступали обнаженные скалы с гладкой, как застывшая жидкость, поверхностью, виднелись круглые камни с зеленой сердцевинкой. На крутых склонах, густо поросших папоротником, там и сям высились одинокие эвкалипты.

На этой обрывистой, осыпающейся земле не было опоры для моих костылей, но, если бы их и удалось поставить твердо, я все равно не смог бы двигаться по такой крутизне. Я уселся, положив костыли рядом, и приготовился ждать возвращения ребят.

Энди ни за что не хотел отказаться от участия в этом приключении.

— С Энди далеко не уйдешь, — заметил Джо, стараясь облегчить мне ожидание. — Он свалится от усталости, если мы отправимся до самого низа. Я пойду только до половины.

— Я могу ходить сколько хочешь, — запротестовал Энди, стараясь разубедить Джо.

— Мы недолго, — заверил меня Джо.

Я следил, как они спускались вниз. Джо держал Энди за руку. Голоса их доносились все глуше и потом совсем замерли.

Меня не огорчало то, что я не мог пойти с ними. Я считал, что остался потому, что решил остаться, а не из-за своей беспомощности. Я никогда не чувствовал себя беспомощным. Я был раздражен, но это раздражение возникало не из-за моей неспособности ходить и лазить, как Джо и Стив; оно было направлено против Другого Мальчика.

Другой Мальчик был всегда со мной. Он был моим двойником; слабый, всегда жалующийся, полный страха и опасений, всегда умоляющий меня считаться с ним, всегда из эгоизма пытающийся сдерживать меня. Я презирал его, однако должен был его опекать. Всегда, когда нужно было принимать решение, я должен был освобождаться от его влияния. Я спорил с ним, когда он упрямо не соглашался; отталкивал его в сторону и шел своей дорогой. У него была моя оболочка, и ходил он на костылях. Я шагал отдельно от него крепкими, как деревья, ногами.

Когда Джо объявил, что спустится в кратер, Другой Мальчик, волнуясь, быстро заговорил со мной.

«Дай мне перевести дух, Алан. Будь осторожен. С, меня довольно. Не утомляй себя. Посиди спокойно, пока я отдохну. Я не стану мешать тебе в следующий раз».

«Ладно, — успокоил я его, — но не выкидывай этих штук слишком часто, а не то я тебя брошу. Я многое хочу делать, и ты меня не остановишь. Я все равно буду делать то, что хочу».

Так сидели мы двое на горе, один — уверенный в своей способности сделать все, что потребуется, другой — целиком полагающийся на его покровительство и заботы.

До дна кратера было четверть мили. Я видел, как ребята осторожно спускались по склону, сворачивая то вправо, то влево в поисках более удобной опоры, как они останавливались, держась за стволы деревьев, и оглядывались вокруг.

Я ждал, что они вот-вот повернут и полезут обратно. Увидев же, что они решили продолжать спуск до конца, я испытал такое чувство, как будто

меня предали, и с досады начал ворчать.

С минуту я смотрел на костыли, размышляя, останутся ли они целы и смогу ли я запомнить место, где их оставил; потом я встал на четвереньки и пополз вниз на дно кратера, где ребята, перекликаясь, занимались его исследованием.

Сначала я двигался довольно стремительно, пробиваясь сквозь папоротники с небольшими усилиями. Иногда мои руки срывались, я падал на землю лицом и катился вниз по рыхлой земле, пока какое-нибудь препятствие на пути не останавливало меня. Добравшись до шлака, я садился прямо как на санки и скользил вниз среди каскада осыпающихся камешков.

Вблизи дна, среди папоротников, высились беспорядочные нагромождения больших камней, когда-то находившихся наверху. С давних времен, с тех пор, как первые поселенцы пришли в эту страну, люди, поднимавшиеся на гору, сбрасывали в кратер тяжелые обломки скал, лежавшие по его краям, и смотрели, как они стремительно, с шумом катились вниз.

Преодолеть эти каменные барьеры оказалось для меня делом трудным. Я передвигался от одного обломка к другому, всем телом налегая на руки, чтобы легче было коленям, но, когда наконец достиг прохода между камнями, мои колени были уже исцарапаны и кровоточили.

Ребята следили за тем, как я спускался, и, когда, кувырком перелетев через полосу папоротников, я упал на ровное место, Джо и Энди ждали меня там.

— Черт возьми! Как же ты собираешься вылезти отсюда? — спросил Джо, опускаясь на траву около меня. — Сейчас, верно, больше трех часов, а я ведь должен еще пригнать уток домой.

— Я доберусь легко, — коротко ответил я и другим тоном добавил: — Ну что, земля здесь мягкая, как ты и думал? Давай-ка сдвинем камни и посмотрим, что под ними.

— Такая же, как наверху, — сказал Джо. — Ябеда поймал ящерицу, но не дает ее никому подержать. Они со Стивом все время говорят о нас, когда я не с ними. Вот посмотри на них.

Бронсон и Стив разговаривали около дерева, украдкой поглядывая на нас с видом явных заговорщиков.

— Нам все слышно! — закричал я.

Эта ложь была традиционным вызовом, и Стив отозвался с нескрываемой неприязнью.

— С кем это ты разговариваешь? — угрожающе произнес он, делая

шаг в нашу сторону.

— Во всяком случае, не с тобой, — отрезал Джо. Эта реплика показалась ему уничтожающей. Он повернулся ко мне с довольной усмешкой: — Слышал, как я его отделал?

— Смотри, они уходят, — сказал я.

Бронсон и Стив повернулись и начали взбираться по склону кратера.

— Пускай! Кому они нужны?

Бронсон оглянулся через плечо и бросил последнее оскорбление:

— Оба вы психи.

Мы с Джо были разочарованы незначительностью его выпада. Не стоило труда отвечать на него, и мы молча наблюдали, как эти двое пробирались между камнями.

— Ябеда не пробьет себе дорогу и на ровном месте, — заявил Джо.

— Я пробью, правда, Джо? — пропищал Энди. Его оценка собственных способностей всегда зависела от мнения Джо.

— Да, — подтвердил Джо, жуя стебелек травы. Потом сказал, обращаясь ко мне: — Нам пора двигаться. Мне ведь еще за утками идти.

— Ладно, — произнес я и добавил: — Можешь меня не ждать, если тебе не хочется. Я отлично доберусь.

— Пошли, — сказал Джо, поднимаясь.

— Подожди, я хочу почувствовать, что я на самом деле внизу, — сказал я.

— Здесь как-то странно, правда? — заметил Джо, оглядываясь вокруг. Послушай, какое эхо!.. Ого-го-го! — закричал он, и в ответ со склонов раздались глухие «го-о-о».

Некоторое время мы прислушивались к тому, как эхо, перекликаясь, облетало кратер, потом Джо сказал:

— Пошли. Мне тут как-то не по себе.

— Почему, Джо? — спросил Энди.

— Кажется, что вот-вот все обвалится на нас.

— Но ведь не обвалится же, правда, Джо? — забеспокоился Энди.

— Нет, — ответил Джо. — Это я так говорю.

Однако действительно казалось, что склоны кратера, кольцом нависшие над нами, обрушатся и закроют собой небо. Отсюда оно не выглядело куполом, высящимся над землей, оно было непрочной крышей, опирающейся на стены из камня и земли. Небо казалось бледным, прозрачным, лишенным привычной голубизны, каким-то незначительным по сравнению с громадами склонов, встающих ему навстречу.

А земля была коричневой-коричневой, совсем коричневой. Темная

зелень папоротников исчезала в коричневых тонах вокруг. Коричневыми были неподвижные, тихие камни! Даже тишина казалась коричневой. Мы сидели, отрезанные от веселых звуков живого мира, лежащего там, за верхним краем окружавших нас склонов, и все время чувствовали, что кто-то огромный и недружелюбный наблюдает за нами.

— Пойдем, — помолчав, сказал я. — Здесь и в самом деле жутко. — Я спустился на землю с камня, на котором сидел. — Никто никогда не поверит, что я был здесь, — заметил я.

— Это только показывает, что они дураки! — ответил Джо.

Я повернулся и стал карабкаться вверх. Когда ползешь по крутому склону вверх, приходится опираться на колени всей тяжестью, а мои были уже воспалены и болели. При спуске все бремя несли на себе руки, колени лишь поддерживали меня. Теперь каждый ярд стоил мне огромных усилий, и я быстро уставал. Через каждые несколько ярдов я вынужден был отдыхать, опустившись на землю и тесно прижавшись к ней лицом, бессильно вытянув руки по бокам. В таком положении мне слышно было биение собственного сердца, доносившееся словно из-под земли.

Сперва, когда я отдыхал, Джо и Энди садились по обе стороны от меня и болтали, но потом мы стали взбираться и отдыхать молча, каждый был занят собственными мыслями. Джо приходилось помогать Энди и в то же время приноравливаться ко мне.

Я полз и полз, подстегивая себя беззвучными возгласами: «Давай! Скорей! А ну-ка еще!»

Высоко на склоне кратера мы сделали очередную передышку. Я лежал, вытянувшись во всю длину, глубоко дыша, как вдруг мое ухо, прижатое к земле, уловило один за другим два глухих удара. Подняв голову, я посмотрел в сторону вершины. Там на самом краю, четко вырисовываясь на фоне неба, стояли Бронсон и Стив; они размахивали руками и испуганно кричали:

— Берегитесь! Берегитесь!

Камень, который они по какому-то внезапному побуждению столкнули вниз, на нас, еще не набрал скорости. Джо увидел его одновременно со мной.

— За дерево! — выпалил он.

Он схватил Энди, и мы втроем с трудом поползли к старому засохшему эвкалипту, стоявшему на склоне. Едва мы успели добраться до него, как мимо нас с резким свистом и шумом, сотрясающим почву, пронесся огромный камень. Мы видели, как далеко внизу он бешено подпрыгивал над папоротниками и поваленными деревьями, потом

услышали страшный треск его удара о каменный вал, скрытый папоротниками. Камень раскололся пополам, и оба куска под углом полетели в разные стороны.

Стив и Ябеда, испуганные своим поступком, бросились бежать:

— Они удрали! — воскликнул я.

— Черт! Ты видел такое? — сказал Джо. — Они могли нас убить.

Но мы оба были довольны этим происшествием.

— Вот посмотрим, что будет, когда мы расскажем об этом ребятам в школе! — заметил я.

Мы снова полезли наверх, чувствуя себя немного лучше; сначала мы говорили о камне и быстроте его падения, но вскоре замолчали, и когда я отдыхал, Джо и Энди сидели тихо, глядя вниз на кратер.

Мне казалось, что мы вместе напрягаем все силы и молчание Джо и Энди, как и мое, вызывалось усталостью.

Я все чаще делал передышки, и, когда солнце начало садиться, а небо над противоположной стенкой кратера загорелось пламенем, мне приходилось отдыхать после каждого мучительного броска вперед.

Когда наконец мы добрались до вершины, я лег на землю, и все мое тело судорожно подергивалось, как у кенгуру, с которого только что содрали шкуру.

Джо сидел рядом, держа мои костыли. Через некоторое время он сказал:

— Мне уже давно пора загонять уток. Я поднялся, сунул костыли под мышки, и мы отправились в обратный путь.

Глава 20

Отец очень беспокоился, потому что после долгих прогулок по лесу я возвращался совсем измученный.

— Не ходи так далеко, Алан. Охоться в зарослях около дома.

— Здесь нет зайцев, — сказал я.

— Правда... — Он стоял, в раздумье глядя на землю. — Тебе непременно надо охотиться, да? — спросил он.

— Нет, — ответил я. — Но я люблю ходить на охоту. Все ребята охотятся. Мне нравится ходить с Джо. Он останавливается, когда я устаю.

— Да, Джо — хороший парень, — произнес отец.

— Кто обращает внимание на усталость? — сказал я

приумолкшему отцу.

— Что верно, то верно... Как видно, тебе придется помериться силами с судьбой. Но когда почувствуешь, что выдыхаешься, бросай все и ложись. Даже лучшей призовой лошади надо давать передышку на большом подъеме.

Он собрал немного денег и стал просматривать объявления в «Эйдж» о продаже подержанных вещей. Однажды он написал какое-то письмо, через несколько дней поехал в Балунг и привез доставленную туда поездом коляску для инвалидов.

Она уже была во дворе, когда я вернулся из школы, и я остановился, глядя на нее с изумлением.

— Она твоя. Прыгай в седло и кати! — крикнул отец из конюшни.

Коляска была тяжелой и громоздкой. Мастер не позаботился о том, чтобы сделать ее полегче. У нее были два огромных велосипедных колеса по бокам и одно небольшое, вынесенное вперед на прикрепленной к раме литой вилке. Две длинные ручки по обе стороны сиденья соединялись рычагами с коленчатым валом на оси. Ручки нужно было двигать взад и вперед поочередно, так что, когда одна находилась впереди, другая была сзади. На правой ручке имелось приспособление, позволяющее седоку поворачивать переднее колесо вправо и влево.

Чтобы сдвинуть коляску с места, требовалось большое усилие, но потом достаточно было просто ритмично работать руками, и она шла легко.

Я влез на сиденье и поехал по двору. Сначала коляска двигалась рывками, потом я приноровился работать руками ровно, и коляска пошла плавно, как велосипед. Через несколько дней я уже катил в ней по дороге, и руки мои работали, как поршни. Я ездил в ней в школу, и все ребята мне завидовали. Они влезали в коляску и садились либо мне на колено, либо друг против друга на изгибе вилки: Сидящий впереди мог ухватиться за ручки пониже меня и помочь двигать их. Мы называли это «отработать проезд», и я охотно возил всякого, кто отрабатывал свой проезд.

Однако ребята быстро уставали, так как руки у них не были натренированы костылями, и тогда я должен был обходиться без их помощи.

Коляска расширила мои возможности, и теперь я мог добираться до реки. Река Туралла находилась в трех милях от нашего дома, и я раньше видел ее лишь во время воскресных школьных пикников или когда отец ездил туда на дрожках.

Джо часто ходил к реке удить угрей, и теперь я мог его сопровождать. Мы привязывали две наши бамбуковые удочки к сиденью, клали кулек из-под сахара, предназначенный для пойманных угрей, на подставку для ног и

отправлялись в путь. Джо сидел впереди, работая ручками короткими быстрыми рывками, я сжимал ручки повыше и толкал их дальше.

Мы ловили рыбу в субботние вечера и всегда уезжали из дому после обеда, чтобы попасть к Макалумову омуту перед заходом солнца. Макалумовым омутом называли длинную, глубокую и тихую заводь, где вода всегда казалась темной. Красные эвкалипты росли по берегам, простирая свои могучие ветви далеко над водой. Стволы деревьев были сучковатые, искривленные, почерневшие от лесных пожаров; на некоторых сохранились длинные узкие шрамы, оставшиеся с тех пор, когда какой-то абориген срезал с деревьев кору для своей лодки.

Мы с Джо сплетали целые истории вокруг этих деревьев со шрамами и тщательно их осматривали, ища следов каменного топора, которым туземцы пользовались для срезывания коры. Среди шрамов были шрамы поменьше, длиной с ребенка, и мы знали, что из таких кусков коры делались кулеманы — плоские блюда на которых женщины укладывали спать младенцев или носили ягоды и корни, собранные для еды.

Одно такое дерево росло у самого берега, и его огромные змеевидные корни омывались водой Макалумова омута. Безветренными вечерами, когда поплавки застывали неподвижно на лунной дорожке, темная поверхность у наших ног вдруг начинала сверкать и переливаться, потом как бы расступалась на мгновение, и из воды показывался плывущий утконос. Он некоторое время наблюдал за нами своими блестящими глазками, затем, изогнувшись всем телом, погружался в воду и возвращался в нору меж корней старого эвкалипта.

Утконосы обычно уплывали вверх по реке и потом, не поворачиваясь, предоставляли течению нести себя обратно, а сами в это время занимались поисками червяков и личинок в воде. Иногда, когда они проплывали мимо, мы принимали их за рыб, так как на поверхности реки видны были лишь их изогнутые спинки, и забрасывали удочку в их направлении. Если утконос заглатывал приманку, мы вытаскивали его на берег, гладили, говорили о том, как хотелось бы оставить его у себя, а потом отпускали обратно в воду.

В норках под деревом жили еще водяные крысы. Они притаскивали со дна двустворчатые ракушки и разбивали их на плоской поверхности большого корня, а мы собирали осколки в мешочек и приносили домой на корм птице.

— Лучших ракушек для птиц нет нигде, — уверял меня Джо.

Но у Джо все было в превосходной степени. Он считал мою коляску «лучшей машиной, какую он видел в жизни», и удивлялся, почему никогда не устраивают гонки на таких колясках.

— Ты, наверно, был бы чемпионом, — утверждал он. — Предположим, ты стартовал бы наравне со всеми. Это ни черта не значит. Ни у одного парня нет таких рук, как у тебя. Ты легко перегнал бы всех.

Так он болтал, пока мы, сидя друг против друга в коляске, ритмично двигали руками взад и вперед и катили к реке. В этот вечер у нас обоих было чудесное настроение, потому что мы запаслись «клубком». Удить угрей на крючок — занятие весьма увлекательное, но ловить на «клубок» — куда интереснее: это удовольствие непрерывное и улов гораздо больше.

«Клубок» делается из червей, нанизанных один за другим на скрученную шерстяную нить так, что в результате получается один огромный червяк длиной в несколько ярдов.

Этот тяжелый шнур из червей затем сворачивается кольцом и к нему привязывается леска. Поплавок в этом случае уже не употребляется. «Клубок» забрасывается в воду и сразу погружается на дно; почти сейчас же к нему бросается угорь, но его пилообразные зубы застревают в шерсти.

Когда рыболов с удочкой почувствует толчок, он вытаскивает угря из воды на берег вместе с «клубком». Надо успеть быстро схватить угря, прежде чем он снова удерет в воду, перерезать ему шею ножом и бросить его в мешочек.

Угри скользкие, удержать их трудно, а иногда в «клубок» вцеплялись сразу два; тут мы с Джо поспешно бросались на них, хватали, но они выскальзывали из рук, и нам опять приходилось их ловить. Ожидая, пока клонет, мы натирали ладони сухой землей, чтобы пыль, приставшая к ним, не давала рукам скользить. От слизи, которой всегда покрыто тело угря, пыль на ладонях превращалась в липкую грязь, и через некоторое время нужно было мыть руки и снова натирать их землей.

Добравшись до старого эвкалипта, мы развели костер и вскипятили чайник; в него моя мать заранее положила чай и сахар. Мы следили за стаями уток, которые быстро летели вверх по реке, точно следуя всем изгибам ее русла. Завидев нас, они резко взмывали вверх.

— Какая сила уток на этой реке! — заметил Джо, жуя толстый бутерброд с солониной. — Вот бы мне столько пенни, сколько уток, скажем, отсюда до Тураллы.

— И сколько, думаешь, у тебя набралось бы денег? — спросил я.

— Не меньше ста фунтов, — ответил Джо, который всегда оперировал круглыми цифрами.

В представлении Джо сто фунтов были целым состоянием.

— Чего только не сделаешь на сотню! — сказал он. — Все, что угодно.

Эта тема увлекала нас.

— Ты смог бы купить любого пони — какого захочешь! — воскликнул я. Самые дорогие седла. Черт! Захотел книгу... Ты ее тут же купишь, и если дал почитать кому-нибудь и тебе не вернули, — пускай, это все равно.

— Нет, книгу отдадут, — возразил Джо. — Ведь ты знаешь, у кого она.

— А может, и не знаешь, — упорствовал я. — Люди никогда не помнят, кто у них берет книги.

Я выбросил хлебные корки в реку, и Джо сказал:

— Смотри, перепугаешь угрей до смерти. Угри ужасно трусливые, и, главное, сегодня восточный ветер, а они не клюют, когда ветер с востока.

Он встал и намочил палец, сунув его в рот. Потом подержал его с минуту в вертикальном положении. В воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка.

— Конечно, восточный! Видишь — холодный, с восточной стороны.

Но угри клевали лучше, чем предсказывал Джо. Не успел я вытащить «клубок» из устланной травой жестянки и опустить его в воду, как леска вздрогнула. Я дернул удочку вверх и выбросил «клубок» вместе с угрем на берег. Угорь забился.

— Хватай его! — закричал я.

Джо зажал обеими руками извивающегося угря, а я тем временем раскрыл перочинный ножик, потом перерезал рыбе позвоночник, и мы отправили ее в мешочек, лежавший у костра.

— Один есть, — с удовлетворением сказал Джо. — Должно быть, восточный ветер стих, и хорошо сделал. Мы сегодня наловим много.

К одиннадцати часам у нас было восемь угрей, по Джо хотелось обязательно десять.

— Если наловишь десять, это здорово! — рассуждал он. — Куда лучше сказать: «Мы вчера наловили десять», чем: «Мы наловили восемь».

Мы решили остаться до полуночи. Взошла луна, света было много, и добраться домой не представляло для нас труда. Джо собрал побольше хвороста для костра. Стало прохладно, а мы были легко одеты.

— Нет ничего лучше хорошего костра, — заметил я, подбрасывая сухие эвкалиптовые ветки в огонь, пока пламя не взвилось выше наших толков.

Джо швырнул на землю охапку сучьев и бросился к дрогнувшей в это время удочке. Он вытащил на берег угря, который упал неподалеку от костра и, поблескивая серебристо-черным телом, стал уползать от огня.

Это был самый крупный из пойманных нами угрей, и я с жаром ринулся на него. Он вырвался из моих рук и скользнул к реке. Я быстро

потер ладони о землю и пополз вслед за ним, но Джо бросил удочку и успел схватить его у самой воды. Угорь извивался в руках Джо, размахивая головой и хвостом. Джо цепко держал его, однако он все нее как-то вывернулся и упал на землю. Джо снова бросился за ним и поймал бы угря, хотя тот уже был почти в реке, но поскользнулся в грязи и слетел в воду.

Джо никогда много не ругался, но тут он начал чертыхаться.

Он выглядел сейчас очень смешно, но я не смеялся. Джо выбрался на берег, выпрямился, растопыбив руки, и посмотрел на лужу, собравшуюся у его ног.

— Ну и попадет же мне за это, — сказал он озабоченно. — Еще как! Я должен высушить штаны, хоть умри.

— Сними их и повесь у костра, — предложил я. — Они мигом высохнут. Как это он у тебя вырвался? Джо обернулся и взглянул на реку.

— Я в жизни не видел еще такого большого угря, — сказал он. — Я не мог обхватить его руками. А какой тяжелый! Черт! Вот это вес! Ты ведь держал его — как думаешь, сколько он потянет?

Это был замечательный случай дать волю фантазии, и мы с Джо упивались.

— Не меньше тонны, — сказал я.

— А то и больше! — прикинул Джо.

— А как он бросался! — воскликнул я. — Точно змея...

— Он обвился вокруг моей руки, — заметил Джо, — и чуть было не сломал ее.

Он замолчал, потом вдруг стал снимать штаны с такой поспешностью, как будто в них забрался большой муравей.

— Надо их высушить.

Я взял палку с развилиной и воткнул ее в землю так, что верхняя часть находилась над костром и штаны могли скорее высохнуть.

Джо вытащил из карманов кусок мокрого шпагата, медную дверную ручку, несколько стеклышек, положил все это на землю, потом повесил штаны на палку и начал прыгать вокруг костра, чтобы согреться.

Я снова бросил «клубок» в реку, надеясь поймать Угря, которого мы упустили, и, когда клюнуло, дернул Удочку с силой, рассчитанной на большую тяжесть.

Извивающийся угорь вместе с «клубком» мелькнул высоко в воздухе над моей головой, описал дугу и угодил прямо в палку со штанами Джо. Штаны полетели в огонь.

Джо нырнул было вслед за ними, но стремительно отскочил назад, когда пламя дохнуло ему в лицо. Он поднял руку, защищаясь от жара, и

попытался другой дотянуться до штанов. Потом вдруг помчался, зло ругаясь, вокруг костра, выхватил у меня удочку и стал тыкать ею в горящие штаны, стараясь подцепить их и вытащить. Когда наконец ему удалось подсунуть под них удочку, он поторопился и рванул ее так, что штаны стрелой вылетели из пламени и, прочертив огненную дугу на темном небе, оторвались от удочки и с шипением упали в реку, откуда поднялись клубы пара.

Когда пламя угасло, Джо охватило отчаяние; тонущие штаны темным пятном выделялись на поверхности поблескивающей воды, потом исчезли; Джо, не отрывая глаз, следил за этим пятном, наклонившись над водой, упершись руками в колени; при свете костра его голый зад казался нежно-розовым.

— Господи! — произнес Джо.

Оправившись настолько, что он уже мог обсуждать создавшееся затруднительное положение, Джо объявил, что мы должны как можно скорее попасть домой. Ему уже не хотелось поймать именно десять угрей, и он думал только о том, что его могут увидеть без штанов.

— Ходить без штанов запрещено законом, — серьезно заявил он мне. — Если меня кто-нибудь заметит в таком виде, я пропал. Как только тебя поймают без штанов, сразу угодишь в каталажку. Вот Добсон, — Джо имел в виду местного велосипедиста-спортсмена, который недавно сошел с ума, — поехал в Мельбурн и пробежал без штанов через весь город. Его посадили черт знает на сколько времени... Надо двигаться! И зачем только сегодня полнолуние!

Мы торопливо привязали удочки к коляске, положили мешочек с угрями на подставку для ног и отправились в путь. Джо в мрачном молчании сидел на моем колене.

Я вез тяжелый груз, и, когда встречался подъем, Джо приходилось слезать и подталкивать коляску сзади. Но подъемов было мало, и я двигался все медленнее и медленнее.

Джо жаловался, что совсем замерз. Мне было тепло, так как я усиленно работал руками, а от ветра защитой мне служил Джо, который все время похлопывал себя по голым ногам, чтобы согреться.

Далеко впереди, на ровной дороге, мы увидели горящие свечи в фонарях приближающегося экипажа. Слышно было цоканье копыт лошади, трусящей не спеша.

— Похоже, что это Серый старика О'Коннора, — заметил я.

— Ну да, это он, — сказал Джо. — Остановись! А вдруг он не один! Я сойду и спрячусь за деревьями. Он подумает, что с тобой никого больше

нет.

Я подъехал к краю дороги, Джо выскочил, побежал по траве и скрылся за темными деревьями.

Я сидел, обрадовавшись передышке, наблюдая за приближающимся экипажем и вспоминая по кускам путь, который мне еще предстояло проделать: легкие участки, длинные подъемы, нашу дорогу и последний перегон перед домом.

Когда фонари экипажа были еще на некотором расстоянии, ездок перевел лошадь на шаг, а поравнявшись со мной, крикнул: «Тпру!» Лошадь остановилась.

Он наклонился с сиденья и взглянул на меня:

— Здравствуй, Алан!

— Добрый вечер, мистер О'Коннор.

Он перекинул вожжи через руку и полез за трубкой.

— Ты откуда?

— С рыбной ловли, — ответил я.

— С рыбной ловли! — воскликнул он. — Гром меня разрази! — Затем, растирая в ладонях табак, он проворчал: — Не пойму, чего ради такой парнишка, как ты, болтается по дорогам среди ночи в этой проклятой штуковине. Ты убьешься! Вот увидишь! Я тебе говорю. — Он повысил голос: Черт! Тебя кто-нибудь переедет насмерть спьяну, вот что будет.

Он перегнулся через щиток и сплюнул на землю.

— Будь я проклят, если могу раскусить твоего старика, и не один я, другие тоже никак не разберут. Калека мальчонка, вроде тебя, должен быть дома в кровати. — Он растерянно пожал плечами: — Что ж, слава богу, это дело не мое! Нет ли у тебя спички?

Я вылез из коляски, отвязал костыли и подал ему коробок. Он зажег спичку и поднес ее к трубке. Потом начал энергично, с шумом и бульканьем втягивать воздух, и огонек в трубке то разгорался, то затухал. Затем он отдал мне спички, поднял голову с трубкой, торчащей изо рта под углом, и продолжал сосать, пока весь табак не затлел.

— Да, — произнес он, — у каждого свои заботы. Вот у меня от ревматизма так и сводит плечо, так и сводит. Я знаю, что такое беда! — Он взял было вожжи в руки, потом спросил: — А как поживает твой старик?

— Неплохо. Он объезжает пять лошадей миссис Карузерс.

— Миссис Карузерс! — фыркнул О'Коннор. Потом он добавил: — Спроси, не займется ли он моей кобылой-трехлеткой. Она еще не ходила под седлом. Спокойная, как ягненок. Сколько он берет?

— Тридцать шиллингов.

— Слишком дорого, — решительно сказал он. — Я дам ему фунт — это хорошая цена. У кобылы нет ни на грош норова. Спроси его.

— Хорошо, — обещал я. Он дернул вожжи.

— Будь я проклят, если знаю, чего ради такой парнишка, как ты, болтается чертовой ночью по дорогам, — пробормотал он. — Но-о! Трогай!

Лошадь вздрогнула и пошла.

— Будь здоров, — сказал он.

— Доброй ночи, мистер О'Коннор. Когда он отъехал, Джо вынырнул из-за деревьев бегом помчался к коляске.

— Я совсем заоченел, — нетерпеливо проворчал он. — Ноги стали совсем как деревянные; если их согнуть, они сломаются. Чего он так долго торчал здесь? Поехали скорее!

Он влез мне на колено, и мы снова тронулись в путь. Джо дрожал от холода и все время принимался ругаться из-за сгоревших штанов:

— Мать здорово рассердится. У меня есть только еще одни, и те в дырках.

Я изо всех сил дергал и толкал ручки, прижимаясь лбом к спине Джо. Коляска подпрыгивала на неровной дороге, длинные удочки постукивали друг о дружку, а угри перекачивались из стороны в сторону в мешочке у наших ног.

— Одно хорошо, — сказал Джо, стараясь хоть чем-нибудь утешиться, прежде чем штаны сгорели, я успел все вынуть из карманов.

Глава 21

Однажды бродяга, присевший отдохнуть у наших ворот, рассказал мне, что знал человека, у которого не было обеих ног, и все же он плавал как рыба.

Я часто думал об этом человеке, плавающем как рыба, Но я никогда не видел, как люди плавают, и не имел представления о том, какие движения надо делать руками, чтобы держаться на поверхности.

У меня хранился толстый переплетенный комплект газеты для мальчиков «Приятели», где была статья о плавании. Она была иллюстрирована тремя картинками, изображавшими человека с усиками в полосатом купальном костюме; на первой он стоял с руками, вытянутыми над головой, глядя прямо на читателя; на второй руки пловца находились под прямым углом по отношению к телу, а на третьей руки были прижаты к

бокам. Стрелки, идущие по кривой от рук к коленям, обозначали движение руки вниз, которое автор статьи называл «Гребок на грудь». Этот термин вызывал во мне слегка неприятное ощущение, поскольку слово «грудь» напоминало мне о матери, кормящей младенца.

В статье говорилось, что лягушка при плавании также пользуется приемом «гребок на грудь». Я поймал несколько лягушек и посадил их в ведро с водой. Они нырнули на дно, затем поплыли по кругу, потом поднялись вверх, выставили над водой ноздри и замерли, распластав лапки. Наблюдение за лягушками дало мне не много, но я твердо решил научиться плавать и летними вечерами стал тайком ездить на своей коляске к озеру, в трех милях от нас.

Там я и начал практиковаться.

— Озеро находилось в котловине, оно было соевем скрыто крутыми, высокими берегами, поднимавшимися террасами на двести — триста ярдов над уровнем воды. Видимо, эти террасы продолжались и под водой, так как уже в нескольких ярдах от берега дно резко опускалось на большую глубину; там протягивали тонкие нити водоросли, и вода была холодной и неподвижной.

Никто из ребят в школе не умел плавать, да и среди взрослых в Туралле я не знал ни одного, кто бы умел. Подходящих мест для купания поблизости не было, и только в нестерпимо жаркие вечера люди, поддавшись сильному искушению, ходили на озеро, которое всегда считалось опасным местом. Детей предостерегали, чтобы они держались от него подальше.

Однако ребята, пренебрегая порой родительскими советами, барахтались в озере у самого берега, стараясь научиться плавать. Если при этом присутствовали взрослые, они не сводили с меня глаз и не подпускали близко к «ямам», как мы называли места, где дно вдруг уходило из-под ног. Они уносили меня к берегу на мелкое место, Потому что их беспокоило то, как я ползу по камням или пересекаю полосу ила у самой воды.

— Эй, давай я перенесу тебя! — говорили они. Они привлекали ко мне внимание всех присутствующих. Когда взрослых не было, ребята как будто не замечали, что я ползаю, а не хожу. Они обливали меня водой, облепливали илом во время наших битв или наваливались на меня и колотили мокрыми кулаками.

В таких драках, когда мы кидались илом, я представлял собой великолепную мишень, так как не мог увертываться или преследовать нападавших. Я легко мог бы уклониться от участия в этих схватках: стоило лишь запросить пощады и предоставить победу противникам. Но, поступив

так, я уже не мог бы оставаться на равной ноге с мальчишками. Я навсегда превратился бы только в наблюдателя, и ребята стали бы относиться ко мне так же, как к девчонкам.

Я не сознавал, что руководствуюсь в своих действиях какими-то соображениями, и не понимал, что поступать так, а не иначе заставляет меня стремление добиться полноправия. Я действовал из неясных побуждений, которые не мог объяснить. Так, когда передо мной выросла мальчишка, решивший во что бы то ни стало забросать меня илом, я полз прямо на него, не обращая никакого внимания на летевшие в меня комья, и в конце концов, когда я находился уже совсем близко и готов был схватиться с ним, он поворачивался и удирал.

То же самое происходило и в драках на палках. Я сразу бросался в бой и принимал на себя сыпавшиеся удары, — ведь только таким путем я мог добиться уважения, с которым дети относятся к победителям во всех играх.

Умение плавать весьма высоко ценилось ребятами, и обычно если ты умел лежать на воде лицом вниз, передвигаясь по дну с помощью рук, то уже считалось/что ты научился плавать. Но я хотел плавать там, где глубоко, и так как другие дети очень редко ходили на озеро, я стал ездить туда один.

Оставив коляску в кустах акаций, я карабкался вниз по поросшим травой террасам до берега, там раздевался, переползал камни и полосу ила и добирался до песчаного дна. Вода там была мне по грудь, когда я сидел.

В статье, напечатанной в «Приятелях», ничего не говорилось о том, что надо сгибать руки и выбрасывать их вперед так, чтобы они легко тли по воде, не оказывая ей сопротивления. По картинкам у меня сложилось представление, что процесс плавания заключается в движении вытянутых рук поочередно вверх и вниз.

Я добился того, что мог держаться на воде, с силой колотя руками, но двигаться вперед я еще не умел. Только на втором году, поговорив у наших ворот о плавании с одним «сезонником», я научился правильно двигать руками.

После этого я стал плавать с каждым разом все лучше, и пришел день, когда я почувствовал, что могу поплыть куда угодно. Я решил испытать себя над «ямами».

Был жаркий летний вечер, и озеро казалось синим, как небо. Я сидел голый на берегу, наблюдая за черными лебедями, которые далеко на воде то поднимались, то опускались, плавая по крошечным волнам, и препирался с тем Другим Мальчиком, который хотел, чтобы я отправился домой.

«Ты проплыл не меньше ста ярдов вдоль берега, — увещевал он меня.

Никто в школе не способен этого сделать».

Но я не обращал на нею внимания, пока он не сказал:

«Смотри, как здесь пустынно».

Одиночество пугало меня. Вокруг озера не росли деревья. Оно лежало совсем открытое небу, и над ним всегда царило полное безмолвие. Изредка раздавался крик лебедя, но это был печальный звук, лишь подчеркивающий уединенность озера.

Немного погодя я сполз в воду и, загребая руками, чтобы держаться прямо, продолжал двигаться вперед, пока не добрался до края обрыва в темную, холодную синеву. Тут я остановился, двигая руками и глядя вниз, в чистую воду; в глубине на крутых склонах подводной террасы видны были длинные бледные стебли водорослей, извивающиеся, как змеи.

Я посмотрел в небо надо мной, — оно казалось таким огромным: пустой купол неба и пол из синей воды. Я был совсем один в мире, и мне было страшно.

Постояв немного, я вздохнул и бросился в «яму». На секунду моих повисших ног коснулись водоросли, потом соскользнули, и я поплыл по воде, которая простиралась подо мной вниз до бесконечности.

Мне хотелось повернуть назад, но я продолжал плыть вперед, медленно, ритмично двигая руками, повторяя себе снова и снова: «Не бойся, не бойся, не бойся!»

Постепенно я стал поворачивать, и, когда увидел, как далеко отплыл от берега, меня на мгновение охватил ужас, и я стал торопливо болтать руками в воде, но внутренний голос продолжал упорно нашептывать свои слова, я успокоился и снова поплыл медленно.

Я вышел на берег, чувствуя себя исследователем, вернувшимся домой после долгого путешествия, полного опасностей и лишений. Берег озера уже не казался мне уединенным местом, где жил страх; это был чудесный зеленый уголок, освещенный солнечными лучами, и я, насвистывая, стал одеваться.

Я научился плавать.

Глава 22

Около наших ворот росли огромные эвкалипты. На земле под деревьями, усеянной листьями, сучьями и ветками, там и сям виднелись следы костров. «Сезонники» и бродяги, проходившие мимо, часто отдыхали здесь, сбросив с плеч дорожные мешки, или останавливались на

минуту, чтобы окинуть внимательным взглядом дом и кучу дров у крыльца, прежде чем зайти и попросить поесть.

Те из них, кто не раз проходил мимо нашего дома, хорошо знали мою мать. Она всегда давала им хлеба, мяса и чаю, не требуя за это нарубить дров.

Отец сам исколесил Квинсленд с мешком за плечами и хорошо знал жизнь этих людей. Он всегда называл их «путешественниками». Бородатых обитателей зарослей он именовал «лесными птицами», а тех, кто приходил с равнин, «полевыми птицами». Отец умел сразу различать их и без труда угадывал, есть ли у них что-нибудь за душой или нет.

Когда такой бродяга останавливался у наших ворот на ночлег, отец всегда делал вывод, что у парня нет ни гроша. «Если бы у него водились денежки, он дошел бы до постоянного двора».

Из конюшни отец часто наблюдал, как они подходили с чайниками к нашей двери, и, если «сезонник», протягивая чайник матери, оставлял себе крышку, отец улыбался и говорил: «Бывалый».

Однажды я спросил его, почему они не отдают матери крышку вместе с чайником.

— Когда бродишь по дорогам, — отвечал отец, — иногда попадают люди, которым и паршивой тряпки жалко, вот к ним и нужен особый подход. Положим, тебе надо чаю и сахару, это тебе всегда нужно. Кладешь чуть-чуть заварки на дно чайника — совсем немножко, так, чтобы хозяйка видела, что чаю у тебя мало. Когда она подойдет к двери, ты чаю у нее не просишь, нет. Ты просишь кипятку и говоришь: «Заварка в чайнике, хозяйка». Она берет чайник, но крышку ты из рук не выпускаешь и, как бы невзначай, как будто ты только что об этом вспомнил, обронишь: «Положите-ка сахарку, если не жалко». Наливая кипяток в чайник, она видит, что заварки в нем так мало, что и на плевок не хватит, и кладет свою. Ей, может, и не хотелось бы тратиться, но неприятно давать чай как помой, и приходится подбавлять. Потом она насыпает сахару, и у парня есть все, что надо.

— А почему они так держатся за крышку? — продолжал я свои расспросы.

— Видишь ли, никогда не получишь столько чаю, если чайник закрыт. Когда нет крышки и видно, что тебе дают, хозяйке неловко смотреть тебе в глаза, если чайник неполный.

— Мама не такая, правда, папа?

— Черт возьми! Конечно, нет! Она башмаки с себя снимет и отдаст, только позволь ей.

— А что, так бывало? — спросил я, живо представляя себе, как мать снимает ботинки и отдает бродяге.

— Видишь ли... такого случая не было. Она может отдать им старую одежду или обувь, но ведь это все делают. Им больше всего нужна еда, особенно мясо. А когда даешь еду, это стоит денег. Большинство людей предпочитает подарить бродяге пару старых брюк, которые уже никто не носит. Когда ты вырастешь, давай им мясо!

Иногда бродяги ночевали у нас в сарае. Как-то холодным утром Мэри кормила уток и увидела бродягу, лежащего на земле. Его одеяло оледенело и торчало колом, борода и усы были покрыты инеем. Когда он встал, то никак не мог разогнуться, пока солнце не согрело его.

После этого, когда Мэри замечала бродягу, расположившегося на ночлег у нашего дома, она посылала меня сказать ему, что он может переночевать в сарае. Я всегда шел за ним в сарай, и мать посылала туда с Мэри ужин не только для него, но и для меня. Она знала мое пристрастие к этим людям. Я любил слушать их разговоры, рассказы о замечательных местах, в которых они побывали. Отец говорил, что они просто морочат мне голову, но я этого не думал.

Когда я показал одному старику мои кроличьи шкурки, он сказал, что там, откуда он пришел, кролики кишмя кишат, и, если хочешь поставить капкан, их надо смести в сторону лопатой, чтобы освободить место.

Ночью было очень пыльно, и я посоветовал ему накрыть лицо газетой «Век». Я спал на веранде позади дома и всегда так делал.

— Сколько пыли она удержит? — спросил он, поднося закопченный чайник ко рту. — Фунт?

— Наверно, — ответил я с сомнением в голосе.

— А тонну удержит, как ты думаешь? — продолжал он, вытирая тыльной стороной руки капельки чая с усов и бороды.

— Нет. Не удержит.

— Я бывал на дальних фермах, где во время пыльной бури надо спать, положив рядом кирку и лопату.

— Зачем? — спросил я.

— Чтобы утром можно было откопаться, — сказал он, глядя на меня своими маленькими, странными, черными глазами, в которых бегали искорки.

Я всегда верил всему, что мне говорили, и огорчился, когда отец посмеивался над историями, которые я спешил ему пересказать. Мне казалось, что он осуждает людей, от которых я их слышал.

— Да нет, мне нравятся эти парни, но понимаешь, это ведь сказки;

веселые небылицы, чтобы смешить людей.

Иногда наш гость, сидя у костра, начинал кричать на деревья или невнятно бормотать что-то, разговаривая сам с собой, уставившись на огонь; я знал тогда, что он пьян. Иногда они пили водку, а иногда древесный спирт.

Мимо нас часто проходил бродяга по прозвищу «Скрипач». Он всегда держал голову немного набок, как будто играл на скрипке. Это был высокий, худой человек с тремя ремнями.

Отец объяснил мне, что один ремень вокруг вещевого мешка означает новичка, который впервые бродяжит; два ремня — что человек ищет работы; три ремня — что он временно не хочет ее найти, а четыре — что вообще не хочет работать.

Я всегда считал ремни на их вещевых мешках и, когда увидел Скрипача, задумался, почему ему не хочется работать.

Он пил древесный спирт и, когда бывал пьян, начинал покрикивать на воображаемых лошадей в упряжке, которые, как ему мерещилось, стояли по другую сторону костра.

— Тпру! Стой! Эй, Принц! Но, Вороной! Поехали!

Иногда он вскакивал и мчался вокруг костра, размахивая воображаемым кнутом, которым стегал рассердившую его лошадь.

Трезвый, он разговаривал со мной пронзительным голосом.

— Не стой так, переминаясь с ноги на ногу, как курица под дождем, — раз сказал он мне. — Иди сюда. Когда я подошел, он приказал:

— Садись! — Потом добавил: — Что у тебя с ногой?

— У меня был детский паралич, — ответил я.

— Подумать только! — сказал он, сочувственно покачивая головой и прищелкивая языком, и подбросил хворост в костер. — Зато у тебя есть хоть крыша над головой. — Он посмотрел на меня. — И над чертовски умной головой! Такие попадают только у овец самой лучшей породы.

Эти люди мне нравились, потому что они никогда меня не жалели. Они внушали мне чувство уверенности. В мире, в котором они жили, костыли казались не такой страшной бедой, как ночевки под дождем или бесконечные блуждания по каменистой дороге в дырявых башмаках с пальцами наружу, или тоска по спиртному, когда в кармане нет ни гроша. Для себя они не видели в будущем ничего, кроме скитаний, а меня, как им казалось, ждало нечто более радостное. Однажды я спросил Скрипача:

— Хорошее здесь место для ночевки, правда? Он огляделся вокруг и ответил:

— Да, наверно, для того, кому можно выбирать. — И, презрительно

усмехнувшись, добавил: — Как-то раз фермер мне сказал: «Вы, ребята, никогда не бываете довольны. Если дать вам сыру, вы обязательно захотите его поджарить».

— Да, — согласился я. — Я тоже такой.

— У меня бывали в пути времена, когда я думал, что, если бы только разжиться чаем и сахаром, все было бы в порядке; но когда есть чай и сахар, мне хочется закурить, а когда есть закурить, нужна удобная ночевка, а когда есть хорошая ночевка, мне хочется почитать. «У тебя. нет ничего почитать? спросил я этого фермера. — Вид но, что еды от тебя не дождешься».

Скрипач был единственным знакомым мне бродягой, который носил с собой сковородку. Он вынул ее из своего вещевого мешка и посмотрел на нее с удовлетворением. Потом перевернул ее, обследовал дно, постукивая по нему пальцами, и сказал:

— Надежная вещь эта сковородка... Я ее подобрал около Милдьюры.

Он достал из мешка кусок печенки, завернутый в газету, и с минуту, хмурясь, глядел на нее.

— Печенка — худшее в мире мясо для сковородки, — проговорил он, сжимая губы так, что его черные усы выжидательно затопорщились. — Она прилипает, как глина.

Как и все бродяги, он постоянно думал о погоде. Он то и дело посматривал на небо и гадал, пойдет ли дождь. В его багаже не было палатки: все имущество составляли два простых синих одеяла, в которые были завернуты кое-какие лохмотья, да две-три жестянки из-под табака с разной мелочью.

— Вот раз ночью около Элмора я попал под ливень, — сказал он мне, темно, хоть глаз выколи, шагу не пройдешь. Я сидел, упершись спиной в телеграфный столб, и размышлял. А наутро развезло — грязь везде непролазная, и мне пришлось по ней тащиться. Сегодня ночью дождя не будет: чересчур холодно. Но он подбирается. Завтра под вечер жди дождя.

Я оказал, что можно переночевать у нас в сарае.

— А как твой старик? — спросил он. — В порядке, — заверил я его. — Он даст вам соломы на постель.

— Это с ним я говорил перед вечером?

— Да.

— Он показался мне хорошим парнем. Правда, разодет франтом, но разговаривал со мной, как вот я сейчас с тобой.

— Ведь так и надо, правда?

— Ну конечно! Пожалуй, улягусь я в вашем сарае, — добавил он. — А

то я кутнул малость, и меня всего скрутило. — Насупившись, он посмотрел на сковородку с шипящей на ней печенкой. — Прошлую ночь меня мучили страшные кошмары: снилось, будто я под открытым небом, дождь хлещет как из ведра, чайник продырявился, и я не могу чаю вскипятить. Черт, я проснулся весь в поту.

Во время нашего разговора на дороге показался еще один бродяга. Это был невысокий, коренастый мужчина с бородой и длинным узким мешком за плечами. Сумка для провизии, перекинута вперёд, свободно болталась на животе; он шел тяжелой, неторопливой походкой.

Скрипач, подняв голову, наблюдал за приближающейся фигурой. По выражению его лица я понял, что ему не хочется, чтобы этот человек остановился здесь, и недоумевал — почему.

Пришелец подошел к костру и сбросил мешок на землю у своих ног.

— Добрый день, — сказал он.

— Здравствуй, — сказал Скрипач. — Куда направляешься?

— В Аделаиду.

— Не близкий путь.

— Да. Покурить есть?

— Я на окурках. Если хочешь — бери.

— Ладно, давай. — Он взял протянутый ему Скрипачом окурочек, осторожно всунул между сжатыми губами и прикурил от палки из костра.

— Проходил через Тураллу? — спросил он Скрипача.

— Да. Я сюда добрался сегодня днем.

— А каковы там мясник и пекарь?

— Пекарь — подходящий, черствого хлеба — сколько хочешь, но мясник — ни к черту. Он и обгоревшей спички тебе не даст. Готов человека убить за кусок баранины.

— Ты в пивную с черного хода заглядывал?

— Да. Разжился там остатками жаркого. Повариха — добрая и здоровенная баба. Нос как лопата. У нее попроси. Но не связывайся с ее дружкой. Такой невысокий парень; за все угощай его выпивкой.

— А «джоны»^[4] есть?

— Нет, но зато не попадайся «джону» в Балунге — это подальше, паршивый «джон». Он непременно задержит тебя, если напьешься.

— У меня всего один шиллинг, так что черт с ним!

— Там дальше, на севере, будет получше, — сказал Скрипач. — У них прошли дожди, и теперь все фермер; сидят в пивных. Там утробу набьешь доверху,

Он взял каравай хлеба, который дала ему моя мать, отрезал толстый

ломоть, разделил пополам печенку, ноли-жил один кусок на хлеб и протянул его собеседнику.

— Возьми, подзаправься.

— Спасибо, — сказал пришелец и стал молча жевать хлеб. Потом спросил: У тебя случайно не найдется иголки с ниткой?

— Нет, — ответил Скрипач.

Бродяга посмотрел на разодранную на колене штанину.

— А булавки?

— Нет.

— Мои башмаки тоже никуда не годятся. Сколько здесь платят жнецу?

— Семь шиллингов в день.

— Ну конечно, — раздраженно заметил пришелец. — Семь монет в день, и расплачиваются в субботу, чтобы не кормить тебя в воскресенье. Еще окурочек есть? — добавил он.

— Нет, хватит, самому нужны, — сказал Скрипач. — Сегодня вечером в Туралле танцулька. Завтра утром наберешь сколько хочешь окурочков у дверей. Тебе, пожалуй, лучше двинуть, а то не доберешься до Тураллы засветло.

— Да, — произнес медленно бродяга. — Верно, пора трогать. — Он встал. Прямо? — спросил он, одним движением вскинув на плечи свой мешок.

— Сворачивай не на первом повороте, а на втором, туда около двух миль.

Когда он ушел, я спросил Скрипача:

— Это что — нестоящий человек?

— У него мешок, как сигарета, — объяснил Скрипач. — Мы все стараемся держаться подальше от парней с такими мешками. У них никогда ничего нет, они все из тебя готовы высосать. Если такой парень попадетса в попутчики, его хоть на себе тащи. А теперь покажи мне, где этот ваш сарай.

Я отвел его в сарай; там отец, видевший, как мы разговаривали, уже набросал несколько охапок чистой соломы.

Скрипач несколько секунд молча глядел на нее, потом сказал:

— Ты даже не знаешь, какой ты счастливый.

— Хорошо быть счастливым, правда? — спросил я. Он мне очень понравился.

— Да, — ответил Скрипач.

Я стоял и смотрел, как он развязывал свой мешок.

— Господи! — воскликнул он, оглянувшись и заметив, что я не ушел. — Ты прямо как хорошая овчарка! Не пора ли тебе пойти домой и

напиться чаю?

— Да, — ответил я. — Пора. Спокойной ночи, мистер Скрипач.

— Спокойной ночи, — сказал он ворчливо.

Через две недели он сторел у костра, который разложил, устроившись на ночевку в восьми милях от нашего дома. Человек, сообщивший об этом отцу, рассказывал:

— Говорят, он перед этим два дня подряд пил древесный спирт. А ночью сонный скатился в костер — знаете, как это бывает... Я когда ехал сюда, говорил Алеку Симпсону, я сказал ему: «Это его дыхание загорелось — вот что случилось». Он, верно, здорово накачался. И как только его дыхание загорелось, огонь пошел по внутренностям, как по запальному шнуру; он, верно, горел, как спичка, ей-богу! Так я сказал Алеку Смпсону — знаете, который у меня купил гнедую кобылу. Я ему сейчас сказал, перед тем как приехать сюда, что так все и произошло. И Алек сказал: «Черт! Ты, наверно, прав». Отец помолчал немного, потом произнес: — Что ж, пришел конец бедняге Скрипачу: умер, значит.

Глава 23

Почти все мужчины разговаривали со мной покровительственным тоном, каким они обычно говорят с детьми. Если разговор слушали другие взрослые, им доставляло удовольствие посмеяться на мой счет — не потому, что они хотели причинить мне боль, а просто при виде моей бесхитростности их так и подмывало подшутить надо мной.

— Ну как, Алан, начал объезжать норовистых лошадей? — спрашивал кто-нибудь, и я принимал этот вопрос за чистую монету: ведь я вовсе не казался себе таким, каким они видели меня.

— Нет еще, — отвечал я. — Но скоро начну.

Тот, кто задавал вопрос, считал, что этого достаток но, чтобы посмеяться, бросал взгляд на своих товарищей, как бы приглашая их разделить веселье, и говорил:

— Слышали? Он с будущей недели собирается объезжать норовистых лошадей!

Некоторые говорили со мной отрывисто и кратко, считая всех детей скучными и неспособными сказать что-либо интересное. При встречах с такими людьми я молчал, потому что в их обществе мне было не по себе.

Однако я обнаружил, что «сезонники» и бродяги, люди, привыкшие к одиночеству, часто чувствовали себя неловко и неуверенно, когда к ним

обращался мальчик, но, встретив дружелюбное отношение, охотно поддерживали разговор.

Таким был старик Питер Маклеод, возчик, который перевозил бревна из зарослей за сорок миль от нашего дома. Раз в неделю на своих тяжело нагруженных дрогах он приезжал из леса, проводил воскресенье с женой и потом возвращался, бодро шагая рядом со своей упряжкой или стоя в пустых дрогах и насвистывая какую-нибудь шотландскую песенку.

Когда я окликал его: «Здравствуйте, мистер Маклеод!» — он останавливал лошадей и вступал со мной в разговор, как со взрослым.

— Похоже на дождь, — замечал он.

Я соглашался, что действительно похоже.

— Какие они, заросли, там, куда вы ездите, мистер Маклеод? — спросил я его однажды.

— Густые, как шерсть у собаки, — ответил он и добавил, как будто разговаривал сам с собой: — Да еще какие густые! Еще какие густые, черт возьми!

Он был высокого роста, с блестящей черной бородой и с непомерно длинными ногами. Когда он ходил, голова его покачивалась, а большие руки висели по бокам, чуть выставленные вперед. Отец как-то сказал, что он раскрывается, как трехфутовая складная линейка, но отец любил его и говорил, что мистер Маклеод — человек честный и умеет драться как тигр.

— Никто в округе не одолеет его, когда он в форме, — сказал отец. После нескольких кружек пива он готов сцепиться со всяким. Это крепкий, сильный человек с мягким сердцем, но уж если он кого стукнет как следует, тот надолго запомнит.

— Питер двадцать лет не ходил в церковь, — продолжал отец, — а котом пошел голосовать против того, чтобы пресвитерианцы объединились с методистами.

Как-то в Тураллу приехали миссионеры, и Питер, пропьянствовав целую неделю, решил стать новообращенным, но тут же прянул назад, как испуганная лошадь, узнав, что ему пришлось бы бросить пить и курить.

«Я пью и курю во славу божью вот уже сорок лет, — сказал он отцу. — И буду продолжать во славу божью».

— Таковы его отношения с богом, — заметил отец. — Не думаю, чтобы Маклеод особенно о нем раздумывал, когда возит бревна.

Заросли, о которых рассказывал Питер, казались мне волшебным местом, где между деревьями бесшумно прыгают кенгуру и опоссумы шуршат по ночам. Я часто думал о нетронутых дремучих зарослях, я слышал их зов. Питер называл их «девственные заросли» — лес, не

знавший топора.

Но это было так далеко!

У Питера уходило два с половиной дня на то, чтобы добраться до лагеря лесорубов, и целую неделю он должен был спать рядом со своими дрогами.

— Хотел бы я быть на вашем месте, — сказал я ему.

Стоял сентябрь, школа была закрыта на неделю, и у меня были каникулы. Я поехал в своей коляске за упряжкой Питера: мне хотелось посмотреть его пятерых лошадей на водопое. Он отнес ведро двум коренникам, а я сидел и наблюдал за ним.

— Почему? — спросил он.

— Тогда я увидел бы девственные заросли.

— А ну, не торопись! — крикнул он лошади, обнюхивавшей ведро, которое он поднес к ее морде. Лошадь начала шумно пить.

— Я свезу тебя туда, — сказал Питер. — Мне нужен хороший парень в помощники. Я возьму тебя с собой, если только ты захочешь.

— Правда? — спросил я, не в силах скрыть волнение.

— Разумеется, — ответил он. — Узнай у своего старика, можно ли тебе поехать.

— Когда вы выезжаете?

— Завтра ровно в пять утра. Будь у моего дома к этому времени.

— Хорошо, мистер Маклеод, — сказал я. — Спасибо, мистер Маклеод. Я буду у вас в пять утра.

Дальнейшие подробности меня не интересовали. Я помчался домой со всей скоростью, на которую были способны мои руки.

Когда я рассказал отцу и матери, что мистер Маклеод обещал взять меня с собой в заросли, отец удивился, а мать спросила:

— Ты уверен, что он это серьезно, Алан?

— Да, да, — быстро ответил я. — Он хочет, чтобы я помогал ему. Мы настоящие товарищи. Он сам сказал это. Он велел мне спросить папу, можно ли мне поехать.

— Что он тебе говорил? — обратился ко мне отец.

— Он сказал, чтобы я был у его дома завтра в пять утра, если ты позволишь мне ехать.

Мать вопросительно посмотрела на отца, и он ответил на ее взгляд:

— Да, я знаю, но все это оправдается в конце концов.

— Не так страшна поездка, как пьянство и ругань, — сказала мать. — Ты сам знаешь, что бывает, когда люди живут подолгу в зарослях.

— Ругани и водки там будет сколько хочешь, — согласился отец.

Сомневаться в этом не приходится. Но это ему не повредит. Как раз тот паренек, который никогда не видел пьяных, сам начинает пить, когда вырастает. То же самое и с руганью: мальчик, не слышавший сквернословия, став взрослым, ругается как извозчик.

Мать взглянула на меня и улыбнулась.

— Так ты собираешься покинуть нас, да? — заметила она.

— Только на неделю. — Я чувствовал себя виноватым. — А когда вернусь домой, все расскажу вам.

— Говорил мистер Маклеод что-нибудь насчет еды? — спросила она.

— Нет, — ответил я.

— Что у тебя есть дома? — Отец посмотрел на мать.

— Кусок солонины к ужину.

— Положи его в сумку вместе с двумя караваем хлеба. Этого ему хватит. Чай у Питера будет.

— Мне надо выехать из дому в четыре, — сказал я. — Опаздывать нельзя.

— Я тебя разбужу, — пообещала мать.

— Помогай Питеру во всем, в чем сможешь, сынок, — сказал отец. Покажи, какова наша порода. Разжигай костер, пока он кормит лошадей. Ты многое можешь сделать.

— Я буду работать, — сказал я. — Еще как буду! Честное слово!

Матери не пришлось будить меня. Я услышал скрип половицы в коридоре, когда мать вышла из спальни. Вскочив с кровати, я зажег свечу. Было темно и холодно, и почему-то мне было не по себе.

Когда я вышел на кухню, мать уже разожгла печку и готовила мне завтрак. Я торопливо заковылял в комнату к Мэри и разбудил ее.

— Не забывай кормить птиц. Хорошо, Мэри? — попросил я. — Выпускай Пэта полетать в пять часов. У опоссума много свежих листьев, но ты давай ему хлеб. Тебе придется поменять всем воду сегодня, потому что я забыл. Попугай любит чертополох, у нас за конюшней растет куст.

— Ладно, — пообещала она сонным голосом. — А который час?

— Без четверти четыре.

— Господи! — воскликнула она.

Мать изжарила яичницу, и я, чуть не давясь в спешке, стал глотать ее.

— Не надо так спешить, Алан. У тебя еще много времени. Ты хорошо умылся?

— Да.

— И за ушами?

— Да, и шею.

— Я кое-что приготовила тебе с собой в маленьком мешочке. Не забудь каждое утро чистить зубы солью. Щетка в мешочке. Я положила тебе старые штаны. Ботинки у тебя чистые?

— Как будто.

Она посмотрела на мои ноги.

— Нет. Сними их, я почищу.

Она отломила кусочек черной ваксы и развела ее в блюде с водой. Пока она начищала ботинки черной жидкостью, я беспокоило ерзал: мне не терпелось отправиться в путь. Мать начистила их до блеска и помогла мне обуться.

— Я ведь научила тебя завязывать шнурки бантиками, — сказала она. Почему ты всегда делаешь узлы?

Она принесла два мешочка из-под сахара под навес, где я держал свою коляску, и светила мне свечкой, пока я укладывал их на подставку для ног и привязывал костыли.

Было не только темно, но и пронизывающе холодно. Со старого эвкалипта слышался свист трясогузки. Я никогда не вставал так рано, и меня волновал этот новый день, еще не испорченный людьми, полный сонной тишины.

— Никто на свете еще не встал, правда? — спросил я.

— Да, ты сегодня встал первый в целом мире, — сказала мать. — Ты будешь умницей, хорошо?

— Хорошо, — пообещал я.

Она открыла ворота, и я на самой большой своей скорости выехал со двора.

— Не так быстро! — раздался голос из темноты.

Под деревьями темнота обступила меня стеной, и я замедлил ход. Я различал верхушки деревьев на фоне неба и узнавал каждое из них по очертаниям. Я знал все выбоины на дороге, знал, где лучше ее пересечь и какой стороной ехать, чтобы избежать особенно трудных участков пути.

Мне приятно было сознавать, что я один и волен поступать так, как мне заблагорассудится. Никто из взрослых сейчас не руководил мной. Все, что я делал, исходило от меня самого. Мне хотелось, чтобы до дома Питера Маклеода было далеко-далеко, и в то же время я хотел попасть туда как можно скорее.

Как только я добрался до большой дороги, я смог двигаться быстрее, и, когда подъехал к воротам Питера, руки мои начали побаливать.

Свернув к дому, я услышал удары копыт о пол конюшни, выложенной булыжником. Хотя Питера и его лошадей скрывала темнота, я видел их

глазами слуха. Позвякивали цепочки под нетерпеливый топот копыт, зерна овса летели из ноздрей фыркающих лошадей, дверь конюшни гроыхала, когда лошадь, проходя, задевала ее. Я слышал голос Питера, покрикивавшего на лошадей, собачий лай и кукареканье петухов в курятнике.

Когда я подъехал к конюшне, Питер запрягал лошадей. Было еще темно, и он не сразу узнал меня. Он уронил постромку, которую держал в руках, и подошел к коляске, разглядывая меня.

— Это ты, Алан? Гром меня разрази, что ты здесь де... Черт! Уж не собираешься ли ты ехать со мной, а?

— Вы же позвали меня, — неуверенно ответил я, вдруг испугавшись, что я его не так понял и что он совсем не думал брать меня с собой.

— Конечно, звал, я тебя давно уже жду.

— Но ведь еще нет пяти часов, — сказал я.

— Верно, — пробормотал он и вдруг задумался. — Твой старик сказал, что тебе можно ехать?

— Да, — заверил я его. — И мама. У меня и еда с собой. Вот она. — Я поднял мешок, чтобы показать Питеру.

Он улыбнулся мне сквозь бороду.

— Я с этим разделаюсь нынче вечером. — Потом другим тоном: — Подтолкни свою коляску под навес. Нам надо в пять быть уже в дороге. — Лицо его вновь стало серьезным. — Это точно, что старик разрешил тебе ехать?

— Да, — повторил я. — Он хочет, чтобы я поехал.

— Ладно. — Питер повернулся к лошадям. — А ну, отойди! — крикнул он, положив одну руку на круп лошади и нагнувшись, чтобы другой поднять с земли постромку.

Я поставил коляску под навес и стоял, следя за ним и держа в руках своп два мешка, как новичок-путешественник, собирающийся впервые сесть на пароход.

Дроги представляли собой тяжелую деревянную телегу с широкими железными ободьями на колесах, с тормозами из эвкалиптовых брусьев, которые приводились в действие торчавшим сзади рычагом. Дерево, из которого были сделаны дроги, побелело и потрескалось от солнца и дождей. Бортов у дрог не было, но на каждом из четырех углов возвышался тяжелый железный прут с петлей наверху, вставленный в специальное гнездо в остова. Дно дрог состояло из массивных, неплотно пригнанных досок, которые грохотали на неровной дороге. Гремели и колья, лежавшие на них. Дроги были с двумя парами оглобель, по паре на каждого

коренника.

Питер рывком поднял оглобли, прикрепил чересседельник, надетый на коренника, к подвижному крюку оглобель, затем перешел на другую сторону, к другой лошади, терпеливо стоявшей рядом со своим товарищем.

Запрягая, он то и дело покрикивал: «Стой!», «А ну, подвинься!», «Давай!» — каждый раз, когда лошадь проявляла беспокойство или отказывалась слушаться его руки.

Три головные лошади, стоя бок о бок, ждали, чтобы он подтянул поводья и прикрепил постромки. Они были шотландской породы, а коренники — йоркширские тяжеловозы.

Кончив запрягать лошадей, Питер бросил на дроги сумки, несколько мешков с кормом, заглянул в ящик с провизией, чтобы проверить, все ли он взял, потом повернулся ко мне и сказал:

— Все в порядке. Теперь влезай. Постой, давай мне твою поклажу.

Я перешел к передку дрог и, держась за оглобли одной рукой, другой бросил костыли на дроги.

— Помочь тебе? — спросил Питер неуверенно, сделав шаг в мою сторону.

— Нет, спасибо, мистер Маклеод. Я сам.

Он подошел к головным лошадям и стал ждать. Я подтянулся на руках до того уровня, когда смог опереться коленом «хорошей» ноги на оглобли, вытянулся, схватился за круп лошади, стоявшей рядом. Потом снова подтянулся и очутился, на ее спине. Спина была теплая, упругая и разделялась неглубокой ложбинкой хребта на два мощных холма мускулов.

«Обопрись руками о хорошую лошадь, и ее сила перейдет в тебя», говаривал отец.

С крупа лошади я перебросился на дроги и уселся на ящик с провизией.

— Готово! — крикнул я Питеру.

Он взял вожжи, висевшие петлей на оглоблях, и взгромоздился рядом со мной.

— Не всякий сумеет влезть на дроги, как ты, черт возьми! — сказал он, усаживаясь. Потом, натянув поводья, спросил: — Может, сядешь на мешок с соломой?

— Нет, мне здесь хорошо, — ответил я.

— Но, Принц! — крикнул Питер. — Но, Самородок!

Позвякивая цепочками постромок, поскрипывая упряжью, лошади двинулись вперед. Позади них затряслись и загромыхали дроги. Небо на востоке чуть-чуть посветлело.

— Я люблю выезжать затемно, — сказал Питер. — Тогда выигрываешь целый день для работы. — Он громко зевнул, потом вдруг обернулся ко мне: — Слушай, ты не сбежал от своего старика, а? Он на самом деле позволил тебе ехать?

— Да.

Питер хмуро посмотрел на дорогу:

— Не могу раскусить твоего старика!

Глава 24

Головные лошади шли с ослабленными постромками, натягивая их только на подъемах. Мне казалось это несправедливым по отношению к коренникам.

— Коренники делают всю работу, — пожаловался я Питеру.

— Когда дроги в движении, они ничего не весят, — объяснил Питер. — Моя упряжка преисподнюю с корнями вытащит, если надо будет. Подожди, вот нагрузим дроги бревнами, тогда увидишь, как все будут тащить!

Занималась заря, и восток порозовел. На деревьях весело затрещали сороки. Мне казалось, что не может быть ничего прекрасней на свете, чем сидеть вот так позади упряжки лошадей ранним утром и слушать сорочью болтовню.

С дальнего выгона раздался голос человека, кричавшего на собаку:

— Назад, назад!

— Это старик О'Коннор выгоняет коров, — сказал Питер. — Что-то он раненько сегодня... Верно, отправляется куда-нибудь. — Питер задумался на минуту. — Едет в Солсбери на распродажу. Конечно, он собирается шарабан купить. — В голосе Питера послышалось раздражение. — Чего ради ему вздумалось покупать шарабан, когда он должен мне десять гиней за бревно?

Он сердито хлопнул вожжами по крупу лошади:

— Но, живей!

И, помедлив немного, сказал со вздохом:

— Вот что получается, когда веришь людям! Он разъезжает в шарабанах, а я на дрогах.

Мы проехали по пустынным улицам Балунга, когда взошло солнце, и вскоре очутились на проселочной дороге, вьющейся между деревьями, которые росли все гуще и гуще; и наконец мы въехали в лес, где уже не

было изгородей.

Пыль, поднимавшаяся из-под копыт лошадей, мягко оседала на наши волосы и одежду. Колеса задевали склонившиеся ветки кустарника, и дроги встряхивало, когда колеса попадали в выбоины.

Мне хотелось, чтобы Питер начал рассказывать о своих приключениях. Я считал его человеком знаменитым. Он был героем бесчисленных историй, которые пересказывались везде, где люди собирались поболтать.

— Бывало, — рассказывал отец, — в баре при гостинице кто-нибудь заведет разговор: «Что вы знаете о драках! Вот я видел, как Питер Маклеод дрался с длинным Джоном Андерсеном позади пивной в Туралле». И все с интересом слушали описание этой драки, длившейся два часа. «Да, — продолжал рассказчик, — длинного Джона унесли еле живого».

За всю свою долгую карьеру кулачного бойца Питер был бит лишь однажды, да и то когда был так пьян, что едва держался на ногах. Один фермер, известный своим пристрастием нападать сзади, набросился на Маклеода, чтобы отплатить за давнюю обиду. Ошеломленный внезапностью и свирепостью нападения, Питер очутился на земле и потерял сознание. Когда он пришел в себя, фермера и след простыл. Но на следующее утро, еще до восхода солнца, Питер, к крайнему изумлению фермера, был уже около его скотного двора и, сжимая верхнюю перекладину забора сильными руками, проревел с покрасневшим лицом:

«Ты и сегодня такой же храбрый, как вчера? А ну, давай выходи!»

Фермер так и застыл, держа в руке ведро, до половины наполненное молоком.

«Я... а... я не могу драться с тобой сейчас, Питер, — заскулил он, взмахивая свободной рукой в знак полной капитуляции. — Ты ведь трезвый. Ты же убьешь меня».

«Ты наскочил на меня вчера вечером, — заявил Питер, несколько озадаченный таким оборотом дела. — Попробуй положить меня сейчас».

«Но ведь вчера ты был пьян, — возражал фермер. — Ты же на ногах едва держался. Я бы никогда не стал с тобой драться с трезвым, Питер. Я ведь не сумасшедший».

«Черт побери! — воскликнул Питер, не зная, что делать. — Да выходи же ты, заячья душа!»

«Нет, Питер, когда ты трезвый, я с тобой драться не стану ни за какие деньги. Можешь обзывать меня как хочешь».

«А на черта мне это надо, если ты не желаешь драться!» — окончательно разозлился Питер.

«Я тебя понимаю, — добродушно сказал фермер. — Ругань ни к чему не приведет. Как ты себя чувствуешь?»

«Хуже некуда, — пробормотал Питер, оглядываясь по сторонам, как бы ища выход. Вдруг он устало облокотился на забор. — Меня сегодня скрутило, как паршивую собаку».

«Подожди, я сейчас дам тебе глоток, — сказал фермер. — У меня есть немного виски».

Отец говорил, что Питер ушел домой в сопровождении хромой лошади, которую ему продал фермер, но мать утверждала, что лошадь была хорошая.

Мне очень хотелось, чтобы Питер вспомнил какой-нибудь случай из своей жизни, и я сказал ему об этом.

— Отец говорит, что вы деретесь, как молотилка, мистер Маклеод.

— Неужто? — воскликнул он, и лицо его просияло от удовольствия.

Он подумал немного и потом заговорил:

— Твой старик высоко меня ставит. У нас всегда найдется время друг для друга. Я слышал, он когда-то был замечательным бегуном. На днях я еще раз на него посмотрел. Он вынослив, как чернокожий. — И другим тоном: — Так он сказал, я умею драться? Так он сказал?

— Да, — ответил я и добавил: — Хотелось бы мне уметь драться.

— Ты когда-нибудь тоже станешь хорошим бойцом. Твой старик умел дать сдачи, а ты такой же, как он. Ты умеешь принимать удары. Если хочешь чего-нибудь стоить, надо научиться принимать удары. Вот послушай, в какую переделку я попал с братьями Стенли. Их было четверо, и все умели драться как следует. Я их не знал, но слышал о них. Один из них — кажется, Джордж пошел за мной на заднее крыльцо и все время ругал меня на чем свет стоит, а когда я предложил ему схватиться, он сказал: «Смотри, я ведь один из Стенли!» — а я ответил: «Мне наплевать, что вас четверо. Подавай их всех сюда!» Но как только мы сцепились, три его братца оказались тут как тут, и мне пришлось иметь дело со всеми четырьмя сразу.

— Они все напали на вас одного?

— Ну да, все. Я начал наступать, бросил одного на землю, а когда он падал, поддал ему коленом в живот — и его сразу скрутило! Остальные трое здорово задали мне жару, но я все время старался бить ниже груди — это единственный настоящий способ биться на кулаках. Старайся наносить удары как можно ниже. О лице беспокоиться не стоит. Если хочешь его разукрасить, успеешь сделать это, когда измотаешь противника. Я уперся спиной в стену и давай бить то правой, то левой. Пришлось-таки попотеть,

но потом я свалил их всех и удрал. Игра не стоила свеч. Она чересчур дорого мне обошлась. Но победа была на моей стороне. Да, черт возьми! — сказал он, с удовольствием отдаваясь воспоминаниям. — Это была драка!

Мы проезжали через большую поляну, расчищенную в зарослях. Полуразрушенный забор из срубленных тут же деревьев окружал выгон, где уже появились молодые побеги и кусты, свидетельствуя о том, что лес начал свое наступление. Заброшенная, поросшая травой тропа вела от подобия ворот к покинутой хижине, сделанной из коры; тонкие молодые деревца уже отчасти закрыли ее стены своей листвой.

Питер стряхнул с себя задумчивость и сказал:

— Это дом Джексона. Сейчас я покажу тебе пень, о который молодой Боб Джексон сломал себе шею. Лошадь понесла его и сбросила, а через два месяца старик Джексон обмотал себя цепью, которой привязывают волов, и утопился в пруду. Потом я покажу тебе пруд. Пень уже недалеко. Вон там... ярдах в двадцати от забора. У него на груди была шишка с мою голову. Должно быть, угодил прямо в пень... Куда же этот пень девался? — Питер поднялся во весь рост, внимательно всматриваясь в выгон. — Вот он. Тпру! Стойте! Стойте, черт вас побори!

Лошади остановились.

— Вон на той стороне. Видишь? Около засохшей акации... Стой! — закричал он на лошадь, нагнувшую голову, чтобы пощипать траву. — Я должен взглянуть еще раз на этот пень. Пойдем, я покажу тебе.

Мы перелезли через забор и подошли к обугленному пню с торчавшими остатками корней около поросшей травой ложбинки.

— Говорят, он ударился грудью об этот, а головой о тот корень. — Питер указал на два заостренных, как пики, корня, торчавшие из пня. — Ею лошадь... Стой, где она понесла? Вон, она поскакала туда. — Он описал рукой полукруг, охватив часть выгона. — Немного в сторону. Потом повернула у этого дерева, пошла кругом, видно, проскакала мимо тех папоротников и затем вот по этой лужайке. Она испугалась пня и понесла.

Он отошел шага на четыре от пня и с секунду измерял глазами расстояние.

— В этом месте он слетел с лошади. Тут она бросилась в сторону. — Питер указал рукой в сторону плетня. — И упал он направо... — Питер помолчал с минуту, пристально глядя на пень. — Он так и не узнал, что его убило.

Когда мы вернулись к дрогам, Питер рассказал мне, что старик Джексон стал каким-то странным после смерти сына.

— Не то чтобы свихнулся, а как будто разорился — все время грустил.

Когда мы подъехали к запруде, Питер снова остановил лошадей:

— Вот здесь. У того берега глубоко. Пруд теперь, конечно, зарос. Он пошел прямо туда и уже не вернулся. Его старуха и младший сын сразу уехали после этого. Она страшно убивалась. Сейчас тут и соломинки не найти, чтобы трубку прочистить. Я приехал с телегой, погрузил все ее вещи и отвез их в Балунг. Ей-богу, когда она меня увидела, у нее прямо лицо посветлело. А когда я уезжал, она не выдержала. Я сказал ей, что старик Джексон был настоящий человек. Но моя старуха говорит, что от этого ей еще горше. Не знаю...

Он тронул лошадей, потом сказал:

— Говорят, что если человек утопился, значит, у него в голове какой-то винтик сломался. Может, и так... Не знаю... Только старик Джексон был не такой. Он был хороший человек. Ему и нужно-то было всего, чтобы приятель сказал: «Не падай духом», — и он выправился бы. Беда в том, что в тот день я как раз уехал подковывать лошадей.

Глава 25

Ночевали мы в заброшенной хижине лесоруба. Питер распряг лошадей, затем достал из лежавшего на дрогах мешка путы и колокольчик.

Я поднял колокольчик. Это был тяжелый, пятифунтовый колокол с низким музыкальным звоном. Я позвонил, прислушиваясь к звуку, который всегда вызывал в моей памяти ясное утро в зарослях, когда каждый листок еще увлажнен росой и сороки наполняют лес своим стрекотанием. Потом я уронил его на землю с высоты всего в несколько дюймов, но Питер, смазывавший ремни, крикнул:

— Черт! Не делай этого! Нельзя бросать колокольчик, он от этого портится. Ну-ка, покажи его мне! — Он протянул руку.

Я поднял колокольчик и отдал ему.

— Это монганский колокольчик, самый лучший в Австралии, — пробормотал Питер, внимательно осматривая его. — Я заплатил за него фунт и не отдал бы и за пять. В ясное утро его слышно за восемь миль.

— Отец говорит, что самые лучшие колокольчики — кондамайнские.

— Да, я знаю. Ведь твой отец из Квинсленда. От кондамайнского лошадь глухнет. У него чересчур высокий звук. Попробуй все время привешивать лошади такой колокольчик, и она оглохнет. Есть только два настоящих колокольца мэнникский и монганский, и монганский лучше. Их делают из особого сплава. Да и то не из всякого. Выбирается такой, чтобы

давал красивый звон.

— А на какую лошадь вы его наденете? — спросил я.

— На Кэт, — ответил Питер. — Она у меня одна подходит для колокольчика. У других звон не получается. А у нее широкий шаг, и она потряхивает головой. Покачивает ею, когда ходит. Поэтому я надеваю колокольчик на Кэт, а Самородка стреноживаю. Он у них самый главный, и остальные держатся около него.

Питер выпрямился:

— Сначала подвешу им на час торбы с кормом, а то здесь только жесткая поросль, лошадям и пощипать нечего.

— А я пока разведу огонь, хорошо?

— Ладно. И поставь чайник. Я скоро приду.

Когда он вошел в дом, огонь был давно разведен и чайник уже кипел. Питер бросил щепотку чаю в кипящую воду и поставил чайник на каменную плиту перед очагом.

— Вот так, а где твоя солонина? — спросил он.

Я уже принес в хижину свои мешки и теперь, вынув завернутое в газету мясо, передал его Питеру. Питер развернул солонину, потрогал ее толстым, почерневшим от грязи пальцем.

— Это отличная говядина, — заметил он. — Лучшая часть ссека.

Он отрезал мне толстый кусок и положил его между двумя огромными ломтями хлеба:

— Вот тебе на заправку.

Потом наполнил крепким черным чаем две жестяные кружки и протянул одну из них мне:

— Никогда еще не встречал женщины, которая умела бы заварить чай. В чашке всегда видно дно, если заваривала женщина.

Мы сидели у огня, уплетая мясо с хлебом. Откусив кусок хлеба, Питер раза два с шумом прихлебывал чай.

— Ух, — с удовлетворенным видом говорил он и ставил кружку на очаг.

Выпив последнюю чашку, он выплеснул остатки чая в огонь и сказал:

— Ну, а как твоя нога ночью? Ты ее бинтуешь или что другое с ней делаешь?

— Нет, — ответил я с удивлением, — ничего с ней не надо делать. Она просто лежит себе, и все.

— Да ну! — воскликнул Питер. — Это здорово! А побаливает она иногда?

— Нет, — сказал я, — я ее совсем не чувствую.

— Если бы ты был мой сын, я бы свез тебя к Вану в Балларат. Он чудеса делает, этот человек. Он тебя бы вылечил.

Я уже слышал об этом китайце, лечившем травами. Большинство людей, живших в Туралле и ее окрестностях, считали, что он может помочь, даже если все другие врачи оказались бессильны. Отец всегда фыркал, заслышав его имя, и называл его «торговцем сорняками».

— Да, — продолжал Питер, — этот Ван никогда не спрашивает, что у тебя болит. Он как посмотрит на человека, так сам сразу определит. Я бы ни за что не поверил, ей-богу, но мне Стив Рамзей о нем рассказывал. Помнишь Рамзея парня, у которого живот ничего не варил.

— Да, — ответил я.

— Так вот, Ван его вылечил. Когда у меня желудок разболелся, Стив мне и посоветовал: «Поезжай к Вану, но не говори, что с тобой. Просто посидишь у него, а он подержит твою руку и такие вещи тебе расскажет, что ты прямо зашатаешься от удивления». И, ей-богу, так и случилось. Я отпросился на неделю и поехал к нему. Он посмотрел на меня так, как Стив говорил. Я ему ни слова не сказал: ведь деньги я заплатил, так пусть он сам и доискивается, что со мной. Я сижу, и он сидит, держит мою руку и пристально смотрит на меня. Потом говорит: «Зачем вы носите эту повязку?» Да, так он и сказал. «Я никакой повязки не ношу», — ответил я. «Нет, вы чем-то обвязались». — «На мне красный фланелевый пояс, если вы это имеете в виду...» — говорю я. «Придется вам с ним расстаться, — заявляет он. — С вами был когда-нибудь несчастный случай?» — «Нет», — ответил я. «Подумайте хорошенько», — говорит он. «Э-э, с год назад я вылетел из двуколки и попал под колесо, но меня не ушибло». — «Нет, ушибло, — заявляет он. — В этом вся ваша беда. Ребро у вас вывихнуто». — «Черт возьми! — говорю я — Так вот оно в чем дело». Тут он дает мне пакетик с травами за два фунта, мать их потом сварила для меня — до чего же это было гнусное пойло! Но больше никогда болей у меня не было.

— Но ведь у вас болел желудок, — сказал я. — А я хочу, чтобы мои ноги и спина вылечились.

— Все идет от желудка, — произнес Питер с убеждением. — Тебя раздуло дурным воздухом или еще чем, как корову на люцерне, и этот воздух не весь из тебя вышел, а теперь надо от него избавиться совсем. Так Ван вылечил одну девушку, приехавшую к нему издалека. Все знают этот случай. Она была такая худая, что даже тени не отбрасывала, хоть и ела как лошадь. Все доктора уже от нее отказались. Тогда она поехала к Вану. А он ей и говорит: «Два дня ничего не ешьте, потом поставьте перед собой

тарелку с бифштексом и с жареным луком и вдыхайте его запах». Она так и сделала. И что же ты думаешь? У нее изо рта как начал выходить солитер, и ползет, и ползет... Говорят, он был черт знает какой длины. И лез, пока весь не вывалился на тарелку. Она потом такая толстая стала, в дверь не пролезет. Солитер-то, видно, много лет в ней сидел и все, что она ела, сжирал. Если бы не Ван, она бы давно померла. А доктора ни черта не знают по сравнению с этими китайцами, которые лечат травами.

Я не поверил Питеру, хотя его рассказ напугал меня.

— Отец говорит, что любой может лечить травами по-китайски, — возразил я. — Он сказал, что для этого нужно только быть похожим на китайца.

— Что? — с возмущением воскликнул Питер. — Он это сказал? Да он рехнулся! Спятил, малый! — Потом добавил более мирным тоном: — Вот что я тебе скажу, и заметь, никому другому я не стал бы этого говорить: я знаю одного парня, образованного, понимаешь, он может что угодно прочесть, — так он мне рассказывал, что в Китае, у себя на родине, эти люди учатся много лет. А когда заканчивают ученье, их экзаменуют всякие ученые врачи. Экзаменуют, чтобы увидеть, умеют ли они лечить травами. И знаешь, как это делается? Двенадцать парней, те, что учились, заходят в комнату, где в стене пробито двенадцать круглых отверстий в другую комнату. Потом ученые врачи уходят, ну, куда угодно... на улицу... искать людей с двенадцатью страшными болезнями. Подойдут к человеку и спросят: «У вас что болит?» — «Кишки». «Подходяще, годится». Потом к другому. «У меня печенка вся сгнила». «Хорошо, тоже подойдет». Потом найдут парня, у которого, скажем, спина болела, как у меня. Также годится. Словом, подберут двенадцать человек, приведут их в ту другую комнату и попросят каждого просунуть руку в отверстие в стене. Понимаешь? А парии, что держат экзамен, должны посмотреть на двенадцать рук и написать, чем больны все эти двенадцать человек за стеной, и тот, кто ошибется хоть в чем-нибудь на одном больном, проваливается. — Он презрительно усмехнулся. — А твой старик говорит, что любой может лечить травами по-китайски. Но все равно мы с ним ладим. У него есть свои странные причуды, но я не ставлю этого ему в укор.

Он поднялся и выглянул в дверь хижины:

— Пойду стреножу Кэт и выпущу всех лошадей, а потом ляжем спать. Ночь будет темная, хоть глаз выколи. Он посмотрел на звезды:

— Млечный Путь лежит на север и юг. Погода будет ясная. Вот когда он идет на восток и запад, обязательно дождь польет. Ну, я ненадолго...

Питер вышел к лошадям, и мне было слышно, как он покрикивает на

них в темноте. Потом он замолчал, и до меня донеслись лишь мягкие звуки колокольчика: лошади углубились в заросли.

Вернувшись, он сказал:

— Бидди здесь в первый раз. Она с фермы «Барк-лей». Лошадям, которые выросли на открытой равнине, всегда страшно первую ночь в зарослях. Им слышно, как кора потрескивает. Бидди немного захрапела, когда я ее выпускал. Ну ничего, обойдется. А теперь надо тебе постель устроить.

Внимательно осмотрев земляной пол хижины, он подошел к небольшой дыре, уходящей под стену, поглядел на нее с минуту, потом взял газету из-под солонины и засунул ее в дыру.

— Похоже на змеиную нору, — пробормотал он. — Если змея выползет, мы услышим, как зашуршит бумага.

Он положил на пол два полупустых мешка с резкой и стал их разравнивать, пока не получилось что-то вроде тюфяка.

— Ну вот, — произнес он. — Так тебе будет хорошо. Ложись, я укурую тебя пледом.

Сняв ботинки, я улегся на мешки, положив руки под голову. Я устал, и постель показалась мне чудесной.

— Ну как? — спросил Питер.

— Хорошо.

— Солома может вылезти и уколоть тебя. Это отличная резка, от Робинзона. Он ее нарезает добротнo, мелко. Ну, я тоже ложусь.

Он постелил на пол мешки, улегся на них, громко зевнул и натянул на себя попону.

Я лежал, прислушиваясь к звукам зарослей. Мне было так хорошо, что спать не хотелось. Я лежал под своим пледом, охваченный волнением. Через открытую дверь хижины ко мне доносился усиливающийся ночью запах эвкалиптов и акаций. Резкие крики ржанок, пролетающих над хижинoй, уханье совы, шорохи, писк и предостерегающее стрекотание опоссума говорило мне, что тьма вокруг живая, и я лежал, напряженно прислушиваясь, ожидая, что произойдет что-то неожиданное и необычное.

Потом, мягко проникая сквозь другие звуки, послышался звон колокольчика, и я с облегчением откинулся на своем матрасе. Засыпая, я видел перед собой Кэт — она шла широким шагом, покачивала головой и мерно позванивала монганским колокольчиком.

Чем дальше мы углублялись в лес, тем величественнее и неприступнее он становился. И чувство какой-то отчужденности росло во мне по мере того, как деревья вздымались все выше и выше. Они вытягивали гладкие, без единой ветви, стволы на двести футов вверх и лишь там одевались листвой. Низкая поросль не пробивалась у их подножия, они стояли на коричневом ковре из опавшей коры. Под ними царила странная, полная ожидания тишина, не нарушаемая ни щебетанием птиц, ни журчанием ручьев.

Наши крошечные дроги с крошечными лошадьми медленно пробирались среди могучих стволов, порой на поворотах задевая за огромные корни, торчащие из земли.

Позвякивание цепей упряжки и мягкие удары копыт по упругой земле, казалось, доносились лишь до ближайшего дерева — так ничтожны были эти звуки. Даже дроги поскрипывали как-то жалобно, и Питер сидел молча.

Местами, там, где росли буки и лес глядел приветливее, дорога спускалась к неглубоким ручейкам с прозрачной водой. Она бежала, поблескивая, по гладким, словно отполированным, камешкам.

С полян, поросших редкой травой, едва прикрывавшей землю, за нами наблюдали кенгуру. Они раздували ноздри, стараясь уловить наш запах, и, почувствовав его, удалялись медленными прыжками.

— Я охотился на них, — сказал Питер, — но это все равно что стрелять в лошадь: остается какой-то гадкий осадок. — Он закурил трубку и мягко добавил: — Я не говорю, что это плохо, но есть уйма вещей, которые нельзя сказать чтобы были плохими, по и хорошими их тоже не назовешь.

Эту ночь мы провели на берегу ручья. Я спал под голубым эвкалиптом и, лежа на своем мешке, мог в просветах между ветвями видеть звезды. Воздух был влажный, прохладный от дыхания древовидных папоротников и мхов, и звон колокольчика доносился явственнее. Порой он звучал совсем громко — это Кэт взбиралась на пригорок или оступалась, спускаясь к воде напиться, — но не умолкал ни на минуту.

— Сегодня мы будем в лагере, — сказал утром Питер. — Мне надо приехать перед обедом. Хочу нагрузить дроги нынче перед вечером.

Лагерь лесорубов расположился на склоне холма. Выехав из-за поворота, мы увидели среди густой поросли большую вырубку.

Над лагерем узкой лентой вилась тонкая струйка голубого дыма; на вершине холма, поднимавшегося к небу, поблескивали на солнце верхушки деревьев.

Дорога огибала холм и выводила прямо на поляну, вокруг которой в

беспорядке были навалены срубленные верхушки деревьев.

В центре поляны стояли две палатки, перед которыми горел большой костер. На треножнике над огнем висели закопченные чайники, и четверо мужчин направлялись к костру, поднимаясь по склону от того места, где они обрабатывали срубленное дерево. Упряжка волов отдыхала у штабеля распиленных стволов; погонщик сидел тут же у дрог на ящике с провизией и обедал.

Питер рассказывал мне о людях, живущих в лагере. Ему нравился Тед Уилсон, сутулый человек с кустистыми, пожелтевшими от табака усами и веселыми голубыми глазами, от уголков которых лучами расходились морщинки. Тед построил бревенчатый домик в полумиле от лагеря и жил там с миссис Уилсон и своими тремя ребятами.

Мнение Питера о миссис Уилсон как-то раздваивалось. Он считал ее хорошей поварихой, но жаловался, что она «любит выть по покойникам». «И не переносит вида крови», — добавлял он.

Питер рассказывал, что миссис Уилсон как-то ночью укусил комар, и на подушке остался кровавый след «величиной с шиллинг».

— А она подняла такой визг, — заметил Питер, — словно в комнате зарезали овцу.

Кроме Теда Уилсона, на участке работали еще три лесоруба, которые жили в палатках. Один из них, Стюарт Прескотт, малый лет двадцати двух, с волнистыми волосами, носил по праздникам тупоносые башмаки цвета бычьей крови. У него был мохнатый жилет с круглыми красными пуговицами, похожими на камешки, и он пел в нос «Ах, не продавайте мамочкин портрет». Прескотт аккомпанировал себе на гармонике, и Питер говорил, что поет он здорово, «а вот в лошадях ни черта не смыслит».

За любовь к щегольству приятели прозвали Стюарта Прескотта «Принцем», и постепенно все стали называть его так.

Он одно время работал в зарослях неподалеку от нашего дома и часто проезжал верхом мимо наших ворот, направляясь на танцы в Тураллу. Отец как-то ездил вместе с ним в Балунг и, вернувшись, сказал мне:

— Я сразу заметил, что этот парень не умеет ездить верхом: каждый раз, как соскакивает с лошади, причесывается.

Принц любил твердить о том, что надо уехать в Квинсленд.

— Там можно нажить большие деньги, — повторял он. — В Квинсленде много земли расчистили.

— Верно, — соглашался отец. — Вот Кидмен — человек не скупой. Он и тебе предоставит шесть футов земли после того, как поработаешь на него сорок лет. Пиши, проси у него место.

Артур Робинс, погонщик волов, был родом из Квинсленда. Когда Питер спросил его, почему он уехал оттуда, Робине ответил: «Там живет моя жена», и это объяснение вполне удовлетворило Питера. Потом Питер спросил его, каков он, этот Квинсленд, и тот сказал: «Чертовски скверное место, но все равно так туда и тянет, ничего с собой не поделаешь».

Он был маленького роста, с жесткими, торчащими бакенбардами, между которыми возвышался огромный нос, открытый всем ветрам. Беззащитный нос, красный, весь в рябинах; отец, знавший Артура, как-то сказал, что, видно, нос изготовили сначала, а потом уже приделали к нему Артура.

Питер считал, что Артур похож на вомбата.^[5]

— Каждый раз, как его вижу, мне хочется спрятать от него картошку.

Замечания о его внешности не обижали Артура, но стоило сказать слово о его волах, как он немедленно раздражался. Однажды, объясняя трактирщику в Туралле причину своей драки с приятелем, Артур сказал:

— Я молчал, пока он издевался надо мной, но не мог стерпеть, когда он стал ругать моих волов.

Это был проворный, живой человек, любящий повздыхать о том, что «жизнь тяжела». Он произносил эту фразу, вставая после обеда, чтобы возобновить работу, или уходя домой из пивной. Это не была жалоба. Она выражала какую-то длительную усталость, дававшую себя чувствовать, когда Артуру приходилось вновь браться за работу.

Когда Питер остановил лошадей у палаток, обитатели лагеря уже наполнили кружки черным чаем из чайников, висевших над огнем.

— Как дела, Тед? — крикнул Питер, слезая с дрог. И, не ожидая ответа, продолжал: — Ты слышал, я продал гнедую кобылу?

Тед Уилсон подошел к бревну, держа кружку с чаем в правой руке и сверток с едой в левой.

— Нет, не слышал.

— Бэри купил ее. Я сначала дал ему на пробу. Ну, эта никогда не подведет.

— Я тоже так думаю, — заметил Тед. — Кобыла хорошая.

— Лучшей у меня не было. Она привезет пьяного домой и всегда будет держаться той стороны дороги, какой надо.

Артур Робинс, который, когда мы вошли, присоединился к обедавшим, пожал плечами и произнес:

— Ну вот, понес! Теперь пойдет рассказывать, как он растил эту кобылу.

Питер добродушно посмотрел на него:

— Как поживаешь, Артур? Уже нагрузил?

— Разумеется. Я ведь из тех ребят, что от дела не бегают. Вот думаю обзавестись упряжкой лошадей и бросить работать.

— Ты так и умрешь в ярме, — добродушно съязвил Питер.

Я не слез с дрог вместе с Питером, замешкавшись в поисках своей кружки, и, когда спустился на землю и направился к группе беседовавших мужчин, они с изумлением уставились на меня.

Тут я вдруг впервые почувствовал свое отличие от других. Это чувство удивило меня. На секунду я в замешательстве остановился. Потом волна гнева поднялась во мне, и я двинулся вперед, быстро и решительно переставляя костыли.

— Кто это с тобой? — спросил Тед, поднимаясь на ноги и рассматривая меня с интересом.

— Это Алан Маршалл, — сказал Питер, — мой товарищ. Иди сюда, Алан! Разживемся у этих ребят какой-нибудь жратвой.

— Здравствуй, Алан! — сказал Принц Прескотт, словно гордясь тем, что давно меня знает.

Потом повернулся к остальным собеседникам, торопясь объяснить им, почему я на костылях.

— Это тот самый парнишка, у которого был детский паралич. Он чуть было не помер. Говорят, он никогда не сможет ходить.

Питер сердито обернулся к нему.

— Какого черта ты болтаешь? — резко спросил он. — Что тебя укусило?

Принц растерялся. Остальные удивленно уставились на рассерженного Питера.

— Что я такого сказал? — спросил Принц, обращаясь к товарищам.

Питер что-то пробурчал. Он взял мою кружку и налил мне чай.

— Ничего особенного. Но больше этого не повторяй.

— Так у тебя нога больная, да? — сказал Тед Уилсон, стараясь разрядить напряжение. — Бабки подкачали, да? — Он улыбнулся мне, и остальные тоже улыбнулись его словам.

— Вот что, — внушительно сказал Питер; он выпрямился, держа мою кружку в руке. — Если храбростью этого парнишки подбить башмаки, им износа не будет.

Я почувствовал себя совсем одиноким среди этих людей, и даже слова Теда Уилсона не могли рассеять этого чувства. Замечание Принца показалось мне глупым, Я был уверен, что снова начну ходить, однако гнев Питера придал словам Принца значение, которого они не заслуживали, и в

то же время вызвал во мне подозрение, что, по мнению этих людей, я никогда больше не буду ходить. Мне захотелось очутиться дома, но тут я услышал, что сказал Питер о моей храбрости, и от восторга забыл обо всем услышанном раньше. Питер поднял меня до уровня этих людей — больше того, он вызвал у них уважение ко мне. А в этом я нуждался больше всего.

Я был так благодарен Питеру, что мне захотелось как-то выразить свое чувство. Я старался стоять к нему как можно ближе, а когда резал баранину, которую он сварил накануне, дал ему лучший кусок.

После обеда лесорубы стали грузить дроги Питера, а я отправился побеседовать с Артуром, погонщиком волов, который готовился к отъезду.

Его волы — их было в упряжке шестнадцать штук — стояли спокойно и жевали жвачку, полузакрыв глаза, как будто все их внимание сосредоточилось на работе челюстей.

У каждого из них на шее лежало тяжелое дубовое ярмо, и его закрепленные концы выступали над головой животного. Через кольца, вделанные в середину каждого ярма, была продета цепь, прикрепленная одним концом к дышлу.

Два коренника были короткорогие животные с толстой, сильной шеей и могучим лбом. У остальных волов рога были длинные и острые. Ведущими шли два вола хартфордширской породы, большие и мускулистые, с добрыми, спокойными глазами.

Артур Робинс собирался тронуться в путь. Его огромные дроги стояли нагруженные бревнами.

— Тут больше десяти тонн, — сказал он хвастливо.

На нем был выцветший комбинезон из толстой бумажной ткани и подбитые гвоздями сапоги с железными набойками. Свою замасленную войлочную шляпу Артур украсил полоской зеленой кожи, продернутой сквозь надрезы в тулье.

Он кликнул свою собаку, лежавшую под дрогами.

— Погонщик, который позволяет собаке разгуливать под повозкой, не знает своего дела. Волы этого не любят. Марш назад! — прикрикнул он на пса. — Они начинают лягаться, — объяснил он, подтягивая штаны и застегивая потуже пояс. — Вот, кажется, все и готово.

Он огляделся, проверил, не забыл ли чего-нибудь, и поднял с земли свой кнут с шестифутовым кнутовищем. Потом посмотрел, не стою ли я у него на дороге. Видимо, удовольствие, которое я ощущал, наблюдая за ним, отражалось на моем лице.

Артур опустил кнут и спросил:

— Ты любишь волов, да?

Я ответил утвердительно и, видя, что ему это понравилось, спросил, как их зовут. Он, указывая кнутом поочередно на каждого вола, называл его кличку и рассказывал, какой от него толк в работе.

— Щеголь и Красный — дышловые, понял? У них должна быть толстая, крепкая шея. Эти двое могут одни сдвинуть нагруженные дроги.

В упряжке был один бык — Дымок, и Артур сообщил мне, что хочет избавиться от него.

— Если запрягать вола в паре с быком, вол быстро захиреет, — сказал он доверительным тоном. — Кто говорит, что у быка едкое дыхание, а кто — что запах такой, но вол в конце концов непременно издохнет.

Он подошел поближе, встал поудобнее, согнув одну ногу в колене, и хлопнул меня по груди.

— На свете есть лютые погонщики волов, — произнес он таким тоном, словно впуская меня в свой собственный, заветный мир. — Вот почему я бы предпочел быть лошадьё, а не волем. — Он выпрямился и поднял руку. Впрочем, возчики тоже бывают злющие, — Он замолчал, подумал с минуту и добавил яростно, словно выталкивая из себя слова: — И не обращай внимания на то, что сказал Принц. У тебя шея и плечи — как у рабочего вола. Никогда не видел парня, который ходил бы лучше тебя, — Он повернулся, щелкнул кнутом и крикнул: — Щеголь! Красный!

Дышловые медленно, уверенно передвигаясь, встали в упряжку.

— Рыжий! Джек! — Голос его эхом раскатился по холму.

Повинуясь его зову, каждый вол проглотил свою жвачку, и можно было заметить, как комок пережеванной травы скользил по длинному горлу. В их движениях не было торопливости. Они становились в ярмо уверенно и спокойно было видно, что делают они это не из страха.

Когда цепь натянулась и каждый стоял на своем месте, пригнув голову и поджав зад, Артур быстро окинул взглядом двойную линию животных и крикнул:

— Вперед, Щеголь! Вперед, Красный! Вперед, Рыжий!

Шестнадцать волов двинулись, как один, все сильнее налегая на ярмо. Секунду, невзирая на страшное напряжение, упрямые дроги с грузом бревен оставались неподвижными, потом с жалобным скрипом сдвинулись с места, покачиваясь, как пароход на море.

Артур, за которым по пятам следовала собака, шагал рядом с упряжкой, перекинув кнут через плечо. Когда дорога пошла под уклон, перед крутым спуском он поспешно направился к задку дрог и быстро повернул ручку тормоза. Стальные ободья врезались в огромные эвкалиптовые блоки тормоза, и гроыхающие дроги издали резкий,

болезненный стон. Этот звук пронесся над холмами, отдаваясь тоскливым эхом в долине, и вспугнул стаю черных какаду. Они пролетели над моей головой, сильно хлопая крыльями, и их печальный крик слился с полным муки скрипом тормозов в грустную жалобу, звучащую до тех пор, пока птицы не скрылись за лесистым гребнем холма, а дроги не достигли долины.

Глава 27

Тед Уилсон жил в полумиле от большой дороги. Питер всегда привозил с собой в лагерь ящик пива, и так уж повелось, что вечером после погрузки все собирались в доме Теда выпить, поболтать и попеть.

Артур, погонщик волов, всегда в этот вечер устраивал стоянку с таким расчетом, чтобы можно было заглянуть к Теду. Пришли из своего лагеря выпить и поболтать и два лесоруба — братья Ферпосоны. Принц Прескотт и двое других рабочих были частыми гостями в доме Теда, в этот вечер Прииц захватил с собой гармошку и нарядился в мохнатый жилет.

Из лагеря мы выехали на дрогах втроем — Тед, Питер и я. Позвав меня садиться, Питер повернулся к Теду и троим лесорубам, которые стояли вместе с ним, и, прикрыв рот ладонью, шепнул хрипло:

— Теперь смотрите! Смотрите на него! Этот парнишка просто чудо: и заикнуться не даст, чтобы ему подсобили. Это я и хотел вам сказать давеча.

Затем, опустив руку, он обратился ко мне с нарочитой небрежностью:

— Ну-ка, Алан. Полезай.

Раньше я с некоторым опасением поглядывал на громаду бревен, возвышавшуюся на дрогах, но слова Питера вдохнули в меня новые силы, и я уверенно направился к повозке. Я вскарабкался на круп Кэт, как делал это прежде, но теперь надо было лезть гораздо выше, и я знал, что мне придется встать на лошадь, а уж потом уцепиться за что-нибудь и подтянуться на руках вверх. Ухватившись за верхушку столба, я с усилием встал «хорошей» ногой на круп Кэт; оттуда я уже без труда добрался до самого верха.

— Ну, что я вам говорил? — воскликнул Питер, с довольным лицом наклоняясь к Теду. — Смотрите! — Он выпрямился и презрительно щелкнул пальцами. — Что ему костыли — чепуха!

Дорога к дому Теда была узкой, и ветви деревьев сгибались дугой, цепляясь за плечи Питера и Теда, которые сидели впереди, свесив ноги. Я сидел сзади, и ветки, выпрямляясь, резко хлестали меня по лицу. Тогда я

улегся на спину и стал наблюдать, как они, со свистом рассекая воздух, пролетали надо мной.

Я наслаждался тяжелым покачиванием дрог, их громким размеренным скрипом. Через некоторое время лошади остановились, и я понял, что мы приехали к Теду.

Дом был построен из горбылей, а щели между ними замазаны глиной. С одной стороны торчала труба из коры, рядом с ней проходил желоб — согнутый кусок коры, — по которому дождевая вода с крыши, тоже сделанной из коры, стекала в железный бак внизу.

Дом стоял, не защищенный ни забором, ни садом от наступающих зарослей. Над ним склонилось тонкое молодое деревцо; перед парадной дверью, которой никто никогда не пользовался, буйно разрослись папоротники.

Около черного хода стоял чурбан, служивший подставкой для старого эмалированного таза. Чурбан был весь в мыльных потеках, и земля вокруг превратилась в сероватую грязь.

Четыре шкуры опоссума, растянутые мехом вниз на задней стене дома и прибитые гвоздями, поблескивали и предвечерних солнечных лучах. На нижней ветке, росшей вблизи акации, висел, слегка раскачиваясь, шкаф для мяса.

У двери в дом лежал ствол древовидного папоротника, служивший ступенькой, а рядом на двух кольшках был прибит кусок железного обода, о который входившим полагалось счищать грязь с башмаков.

Позади дома, под навесом из коры, державшимся на четырех тонких столбах, стояла двуколка, и упряжь, свисая, лежала на крыле.

Питер остановил лошадей подле навеса, и я слез с дрог. Двое ребяташек стояли и внимательно смотрели, как я спускался и ставил костыли под мышки.

Один из них, мальчуган лет трех, был совершенно голый. Питер, свертывавший вожжи, прежде чем забросить их на спину Кэт, с интересом посмотрел на него и весело улыбнулся.

— Ну и ну! — воскликнул он. Потом протянул грубую, мозолистую руку и стал поглаживать парнишку по спине. — Какой гладенький малыш!

Мальчик, уставившись в землю, с серьезным видом сосал палец. Он подчинился ласке Питера спокойно, но с некоторой опаской.

— Вот так гладенький малыш! — В голосе Питера звучало почти удивление; пальцы его продолжали ласкать плечи ребенка.

Другому мальчонке было лет пять. На нем были длинные бумажные чулки, но подвязки порвались, и чулки свисали на ботинки, как кандалы.

Веревочные подтяжки поддерживали заплатанные штаны, а у рубашки без единой пуговицы был только один рукав. Волосы его, наверно, никогда не причесывали. Они торчали дыбом, как шерсть у испуганной собаки.

Тед, распрягавший лошадей, обошел вокруг головных и, увидя сына, остановился, окинул его критическим взглядом и крикнул:

— Ну-ка, подтяни носки! Подтяни носки! Питер подумает, что ты у меня птица какой-то новой породы!

Мальчуган наклонился и подтянул чулки, а Тед не спускал с него глаз.

— Теперь отведи Алана в дом, а мы кончим распрягать. Скажи маме, мы сейчас придем.

Женщина, повернувшись от очага, когда я вошел, посмотрела на меня с таким выражением, как будто она вот-вот завилает хвостом. Лицо у нее было полное, располагающее к себе; она подошла ко мне торопливо, вытирая мягкие, влажные руки о черный запачканный мукой передник.

— Ах ты, бедный мальчик! — воскликнула она. — Ты калека из Тураллы, да? Ты, наверно, хочешь посидеть?

Она обвела глазами комнату, прижав пальцы к полным губам, чуть нахмурившись, как бы в нерешительности.

— Вот на этот стул. Садись сюда. Я сейчас подложу — подушку под твою бедную спинку!

Желая помочь мне сесть, она подхватила меня под локоть и подняла мою руку так высоко, что я с трудом удержал костыль под мышкой.

Я споткнулся, она с тревожным восклицанием схватила обеими руками мою руку и взглянула в сторону стула, как бы измеряя расстояние между мною и этим спасительным прибежищем.

Я с трудом добрался до стула, опираясь всей тяжестью на второй костыль, движение которого она не затрудняла, — другую мою руку она продолжала держать высоко в воздухе. Я опустил на стул смущенный, чувствуя себя крайне неловко и всей душой желая очутиться снова на воздухе среди мужчин, которые не обращали внимания на мои костыли.

Миссис Уилсон отодвинулась немного и взирала на меня с удовлетворением, — так женщина смотрит на курицу, которую она только что ощипала.

— Ну вот, — весело сказала она, — теперь тебе лучше?

Я пробормотал «да», ощущая облегчение от того, что освободился из тисков ее руки, и посмотрел на дверь, через которую вскоре должны были войти Питер и Тед.

Миссис Уилсон начала расспрашивать меня о моей «страшной болезни». Ей не терпелось знать, болит ли у меня нога, ноет ли спина и

натирает ли меня мать жиром ящерицы.

— Он так все пропитывает, что даже проходит сквозь стекло бутылки, внушительно сообщила она.

Она решила, что во мне слишком много кислоты и что мне следовало бы всегда носить в кармане картофелину — это хорошее средство.

— Картофелина, засыхая, вытягивает из человека кислоту, — объяснила она.

Она заговорила о том, что я могу расхвораться здесь в зарослях, но что мне нечего беспокоиться, — ведь у Теда есть двуколка. Потом она взяла кастрюлю с вареной бараниной, стоявшую на двух железных перекладинах над огнем, поднесла к носу и пожаловалась на то, как трудно в зарослях сохранить мясо свежим.

Она мне начала нравиться, когда забыла о том, что я хожу на костылях, и заговорила о собственных болезнях. Разговаривая, она все время хлопотала на кухне: выложила дымящуюся баранину на большое блюдо на столе, достала горячий картофель из другой кастрюли и принялась мять его. Затем, с трудом выпрямившись, словно это причинило ей боль, она сообщила мне с таинственным видом, как бы делиась со мной секретом, что не доживет до старости.

Я заинтересовался и спросил — почему; на это она ответила, что все ее органы переместились.

— У меня уже никогда больше не будет детей, — сказала она и добавила после минутного молчания: — И слава богу!

Она вздохнула и отсутствующим взглядом посмотрела на мальчугана со спущенными чулками, который внимательно прислушивался к нашему разговору,

— Сбегай принеси штаны и рубашку Джорджи, — неожиданно обратилась она к нему. — Они уже высохли. Я не хочу, чтобы он умер от простуды.

Мальчик — его звали Фрэнк — в одну минуту принес одежду, висевшую где-то на ветке за домом, и миссис Уилсон одела Джорджи, который серьезно поглядывал на меня все время, пока длилась эта процедура.

Наконец мать одернула на малыше рубашку и отпустила его, строго-настрого наказав:

— Смотри, скажи мне, когда тебе захочется куда-нибудь. Я тебе задам, если не будешь проситься!

Джорджи продолжал смотреть на меня.

Когда Тед с Питером вошли в дом, Тед шлепнул миссис Уилсон по

спине с такой силой, что меня охватило беспокойство за ее здоровье.

— Как поживаешь, старуха? — весело крикнул он и, разглядывая готовящийся ужин, сказал Питеру: — Это отличный кусок баранины. Я купил четыре овцы у Картера по полкроны за штуку. Хорошие, откормленные, попробуешь — сам увидишь.

Глава 28

Когда со стола все было убрано и керосиновая лампа, висевшая на цепочке, прикрепленной к потолку, зажжена, Питер внес ящик с пивом и уселся вместе с Тедом подсчитать на бумаге, сколько придется с каждого гостя за «выпивку».

— Разопьем бутылочку, пока подойдут остальные, — предложил Тед, когда, к удовлетворению Питера, сумма была установлена.

Миссис Уилсон укладывала мальчуганов спать в другой комнате, откуда доносился плач младенца. Потом все стихло, и она вышла к нам, застегивая блузку. За это время пришли двое лесорубов и сели на скамью к столу. По тому, как они поздоровались с миссис Уилсон, видно было, что она пользуется их расположением.

— Эх, и попотели же мы сегодня в лесу, миссис, — сказал один из них, вытянув на столе большие руки, как будто ему было не под силу держать их на весу.

— Как идут дела? — спросил Тед.

— Неплохо. У нас сейчас такие толстые деревья пошли, что мы пилим, их на четыре части. Это всего выгоднее в зарослях.

Мне захотелось узнать, почему это всего выгоднее, но только я решился спросить об этом, как появился Артур Робинс, а за ним — остальные трое лесорубов, и Тед стал разливать пиво в кружки, расставленные на столе.

Каждый гость принес свою кружку, и, хотя они были разной величины, Тед наливал, в них одинаковую порцию.

После нескольких кружек Принц Прескотт начал наигрывать на своей гармонике. Он раскачивался, манерно поводил плечами, по временам откидывал голову и поднимал руки над головой так, что гармоника на секунду как бы взвивалась в танце вверх, прежде чем вновь принять нормальное положение. Порой он при этом напевал какой-то куплет, словно пробуя голос под рыдающий аккомпанемент гармоника.

— Еще не разошелся, — заметил мне вполголоса Артур Робине.

Артур сел рядом со мной на ящик неподалеку от печки. Мягкая улыбка предвкушения чего-то приятного не покидала его лица. Он любил песни, как он выразился, «хватаящие за сердце», и все время просил Принца спеть «Буйный парень из колоний».

— Что это нашло на него сегодня? — воскликнул он с раздражением, когда Принц, поглощенный «Валеттой», не обратил внимания на его просьбу.

— Спой нам «Буйный парень из колоний», — снова потребовал Тед. — К черту ерунду, что ты играешь! Мелодия гармонике с присвистом оборвалась.

— Ладно, — сказал Принц. — Начали.

Когда он запел, Артур наклонился вперед, губы его беззвучно повторяли слова песни, глаза засветились от удовольствия:

Буйный парень из колоний — есть второй такой едва ли!

Он родился в Каслмене, Джек Дулан мальчишку звали.

Как им мать его гордилась! Как отец его любил!

Буйный парень из колоний им всего дороже был!

Это была любимая песня моего отца. Когда у нас дома бывали гости, он всегда, после того как немножко выпьет, становился на скамью и пел эту песню. Дойдя до припева, он громким голосом обращался к присутствующим:

— Это надо петь стоя. Встаньте, друзья!

Поэтому, когда Принц запел припев, я взял костыли, стоявшие тут же у стены, встал и быстро и настойчиво сказал Артуру:

— Встаньте!

— Ей-богу, встану, малыш! — ответил он, поднялся на ноги, с шумом поставил оловянную кружку на стол, задрал вверх бородатое лицо и начал подпевать громовым голосом, который мог бы принадлежать великану. Я пел вместе с ним высоким дискантом, а Питер, Тед и лесорубы тоже встали и подхватили припев.

Таким образом, стояли все; мужчины, по примеру Артура, с шумом поставили свои кружки на стол, а миссис Уилсон прижала руки к груди и шептала с восхищением:

— Господи!

Эй, друзья, помчимся бурей по равнинам и горам!

И добычу и невзгоды мы поделим пополам.

Вместе мы ускачем в горы, вместе гибель встретим мы.

Лучше смерть, чем цепи рабства, лучше смерть, чем мрак тюрьмы.

— Вот это песня, — хрипло сказал Артур, садясь и протягивая кружку

за пивом. — Она помогает человеку, когда работе конца не видно.

После этого Питеру захотелось расшевелить компанию. Он был слишком занят пивом, чтобы зря тратить время на шотландские песни, но он помнил две строки из стихотворения Адама Линдсея Гордона и повторял их почти с благоговейным трепетом.

Они пришли ему в голову, как раз когда он наливал пиво из бутылки в кружку. Вдруг он застыл с обоими предметами в руках, уперся глазами в стену и с чувством продекламировал низким голосом:

Между небом и водой Клоун поравнялся с ней,

И, столкнувшись, загремели наши стремяна.

Закончив, он с секунду продолжал стоять, неподвижно глядя в стену.

Артур сморщился и задумчиво посмотрел на него.

— Он все еще скачет верхом на Клоуне, — заключил он и сосредоточил свое внимание на кружке.

Оправившись после этого краткого экскурса в поэзию, Питер почувствовал потребность объяснить продекламированные им строчки.

— Понимаете, что это значит, да? До некоторых ребят стихи не доходят. Клоун здорово берет препятствия. Он разгоняется и, как птица, летит над ямой с водой, понятно? Другая лошадь прыгнула раньше, а Клоун сразу за ней и в прыжке догнал. Вот что значит «между небом и водой». Они одновременно касаются земли. Ну, другая лошадь перепрыгивает яму с трудом и почти падает, тут они сталкиваются. Клоун, видно, здорово натренированная лошадь, с хорошими ногами... Хотел бы познакомиться с парнем, который это сочинил.

Он проглотил кружку пива и крикнул, глядя на пустую посудину.

Принц так распелся, что его трудно было остановить. Он пел «Кольцо на полу бара», «Товарный вагон» и «Что ты мне купишь, папа?».

После каждой песни по лицу миссис Уилсон ручьем текли слезы.

— Какая красивая песня, правда? — рыдала она. — Вы еще знаете? Еще какие-нибудь песни?

— Конечно, миссис Уилсон, я их очень много знаю, — говорил Принц, скромно опуская голову. — Где бы я ни бывал — стараюсь запомнить песенку.

— Вы не знаете «Роковую свадьбу»? — спросила она, с надеждой наклонившись к нему.

— Нет, этой я не знаю, миссис Уилсон, но я ее выучу. Обязательно. Зато я знаю другую: «Мамочка, в раю со мною будут ангелы играть?». Хотите ее послушать?

— Ну конечно! — воскликнула миссис Уилсон. — Такое хорошее

название. Она повернулась к Питеру и Артуру, которые горячо спорили о том, кто больше потянет — волы или лошади.

— Потише, вы! — потребовала она. — Принц сейчас споет хорошую песню. Доспорите потом. Начинайте, Принц!

Питер опустил руку, которой он энергично размахивал в подтверждение своих доводов, и подчинился.

— Ладно, валяй, Принц! — Он откинулся на спинку стула, слегка покачивая головой. — Спускай тормоза, — пробормотал он.

Принц встал и объявил название песни: «Мамочка, в раю со мною будут ангелы играть?»

Он склонился над своей гармоникой, которая жалобно заныла у него над грудью, потом выпрямился, тряхнув головой, отбросил волосы назад и запел в нос:

Во дворе, где детвора весело играла,
Девочка на костылях в стороне стояла.
Как манил к себе бедняжку их веселый гам!
— Уходи, — сказали дети, — ты мешаешь нам!
Тихой ночью ангел божий девочку унес,
И на мертвых губках словно трепетал вопрос:
Тут Принц дрожащим голосом запел припев:
— Мамочка, в раю со мною
Будут ангелы играть?
Иль за то, что я калека, захотят меня прогнать?
Здесь мне дети говорили: «Уходи, не смей мешать...»
Мамочка, в раю со мною будут ангелы играть?

Когда Принц уселся, уверенный в том, что сейчас посыплется град похвал, Питер встал, чуть пошатываясь, потом выпрямился и ударил кулаком по столу, выставив упрямый подбородок с блестящей бородой.

— Песня жалобная, что надо, да только ее не следовало бы петь при этом малыше. — Он драматически ткнул пальцем в мою сторону. — Это не подходящая для него песня. — Затем повернулся и наклонился ко мне: — Не обращай внимания, Алан. — Питер тяжело сел и налил себе пива. — «Между небом и водой Клоун поравнялся с ней...» — пробормотал он.

Его вспышка поразила меня. Я никак не связывал содержание песни с собой. Меня растрогала несчастная маленькая девочка, и я жалел, что не могу поиграть с ней. Слушая голос Принца, я мысленно раздавал оплеухи детям, которые не хотели с ней играть. Меня удивило, что девочка сама не сумела с ними справиться, и я решил, что она, видно, была очень мала. Но мне и в голову не приходило сравнивать себя с нею — это было бы

нелепостью.

Принц рассердился на Питера. Как раз когда он приготовился внимать возгласам одобрения, Питер обругал его.

— Что тут плохого? — сказал он возмущенно Артуру. — Это хорошая песня. Алан знает, что он калека, верно? И мы знаем.

Артур встал и, наклоняясь через стол к Принцу, сказал ему тихо:

— Вот тут ты ошибаешься, Принц; он не знает, что он калека. — Артур выразительно взмахивал пальцем после каждого слова. — Он никогда не узнает этого, даже если проживет сто лет.

Артур выпрямился, задрал подбородок и, плотно сжав губы, строго взглянул на Принца, как бы ожидая его возражения, но Принцу стало не по себе. Он сник, и это смягчило Артура.

— Я не говорю, что это плохая песня, — продолжал он, — но нужно ли растолковывать ему, что думают о нем дураки?

Принц согласился, что лучше мне этого не растолковывать.

— Господи! — воскликнула миссис Уилсон, слышавшая этот разговор. — Я всегда говорю, что лучше не знать о своих болезнях. Люди, у которых рак или еще что страшное... Просто ужас!

Артур задумчиво поглядел на нее, потом пожал плечами и сказал Принцу:

— Спой нам еще песню. Что-нибудь этакое бодрое, а? Ты не знаешь эту песню про Бен Холла? Вот это был человек! Спой ее.

— Я не знаю слов, Артур. Ты начало не помнишь? Артур набрал в легкие воздух и прижал подбородок к груди.

— «Только богатым был страшен разбойник Бен Холл», — запел он дрожащим, неуверенным голосом, потом остановился и вытер рот тыльной стороной ладони. — Дальше я не знаю. Но это чертовски хорошая песня. Ты должен ее выучить.

— Спойте, пожалуйста, «На стене повешен чей портрет?», — просила миссис Уилсон.

— Белиберда, — проронил Артур с презрением и торопливо допил свою кружку.

— Я слышал эту песню на концерте в Балунге, — сказал один из лесорубов. — Хлопали и кричали так, что стены чуть не обвалились. Парень, который ее пел, специально приехал из Мельбурна. Я забыл его фамилию, но говорили, что он известный певец. Знаете, ему за каждую песню платили.

— Я знаю два куплета, — сказал Принц. — Сейчас попробую вспомнить мотив. Один раз я ее пел, но... Как она поется?

Склонив голову набок и закрыв глаза, он прислушивался к звукам, которые издавала гармоника, потом вдруг улыбнулся и кивнул головой:

— Все в порядке, вспомнил.

— Тише там! — Миссис Уилсон взглянула в сторону Питера и Теда, которые разговаривали оба сразу, не слушая друг друга.

— Это седло было немного потрепанное, подпруга никуда не годилась, но я бросил его в повозку... — Голос Теда звучал так, словно он сообщал величайшие тайны.

— Я за своего Серого отдал пять фунтов, — перебил Питер, держа кружку в нескольких дюймах ото рта и пристально глядя сквозь нее на стену. — И проскакал на нем двадцать миль в ту ночь...

— Это было седло из Квинсленда, — продолжал Тед, наливая себе пива.

— А коньку моему хоть бы что... — упорствовал Питер.

— Я купил новую подпругу... — не сдавался Тед.

— Даже не вспотел, — произнес Питер, обращаясь к стене.

— Ну, и после этого... — Тед дошел до критического момента своего повествования.

— Заткнитесь вы оба, — сказал Артур, — хозяйка хочет послушать песню.

Питер и Тед посмотрели на Артура, как на назойливого чужака.

— Какого чер... — начал Тед.

— Принц сейчас споет новую песню.

— Давай начинай, — добродушно согласился Питер и, откинувшись назад на своем стуле, уставился в потолок. — Мы слушаем.

Принц запел: — Отчего, скажи, ты плачешь, детка? Папу огорчать тебе не жаль? Отчего теперь смеешься редко? Расскажи, голубка, про свою печаль.

— Ты хороший, папа, — девочка сказала,

В целом мире лучше папы нет.

Только, если любишь, ты мне правду скажешь:

На стене повешен чей портрет?

Все мы внимательно слушали Принца. Даже Питер повернулся, чтобы посмотреть на него, и с большим жаром подхватил припев.

В этой темной раме улыбалась мама,

А теперь я вижу — в ней чужая дама.

Улыбалась мама лучше и нежней,

А чужая дама не сравнится с ней.

Когда Принц начал новый куплет, миссис Уилсон тихонько заплакала.

— Дорогая детка, будет новой мамой
Та, что, улыбаясь, смотрит на тебя.
Ты играть с ней будешь, ты ее полюбишь,
Чтоб не огорчать меня.

Артур выпил две кружки пива, пока Принц пел, и, когда он закончил, мрачно заявил мне:

— Человек, который женится второй раз, — сумасшедший.

Я устал и уснул на стуле под звуки песен. Когда Питер разбудил меня, все уже разошлись.

— Пробудись, — сказал он тоном священника, начинающего проповедь. Пробудись и пойдем со мной.

Мы вышли и направились к навесу, где он уже приготовил нам постель.

Я поскорее залез на мешки, но Питер продолжал стоять, держась за столб и покачиваясь. Вдруг он поднял голову и продекламировал в ночь:

Между небом и водой Клоун поравнялся с ней,
И, столкнувшись, загремели наши стремяна.

Глава 29

Отцу хотелось знать все о моей поездке с Питером. Он подробно расспрашивал о людях, с которыми мне довелось встретиться, и о том, разговаривал ли я с ними. Когда мать попыталась выразить слабый протест против такого обилия вопросов, отец заставил ее замолчать словами:

— Я хочу знать, может ли он быть самостоятельным.

Мой восторженный рассказ о выносливости лошадей, о том, как они тащили нагруженные дроги, ни разу не ослабив постромки, доставил ему большое удовольствие.

— Да! Хорошая упряжка, что и говорить, — заметил он. — У Питера недаром лошади породы марло — крепкие, никогда не подведут.

После недолгого молчания он спросил:

— Он давал тебе править?

В ожидании моего ответа отец отвел глаза в сторону, а его руки застыли на столе.

— Да, — сказал я.

Он просиял и кивнул головой, улыбаясь своим мыслям.

— Пара рук — вот что главное, — пробормотал он, думая о своем, — пара умелых рук...

Он знал, как нужны крепкие умелые руки, чтобы править лошадью.

Я живо помнил ощущение лошадиного прикуса на туго натянутых вожжах, ощущение силы, которой лошади, таща свой тяжелый груз, казалось, делились со мной, — эта сила так и вливалась в меня через поводья.

«Когда лошадь напрягается, все твои силы уходят в вожжи», — как-то сказал отец, но я этого не находил.

«Нечего горевать, что ты не можешь ездить верхом, — сказал он, — уметь хорошо править упряжкой — большое дело».

Впервые за несколько лет отец упомянул о том, что верховая езда для меня недоступна. После возвращения из больницы я говорил о верховой езде так, как будто через какие-нибудь несколько недель я уже буду носиться на норовистом скакуне. Отец не любил разговоров на эту тему. Он всегда упорно отмалчивался, когда я просил посадить меня на лошадь, но наконец почувствовал необходимость объясниться начистоту. Он сказал, что я никогда не смогу ездить верхом, — во всяком случае, до тех пор, пока не стану взрослым и не научусь ходить без костылей.

Он положил мне на плечо руку и говорил очень серьезно, как видно придавая большое значение тому, чтобы я его понял как следует:

— Когда едешь верхом, бока лошади сжимаешь ногами. Если переходишь на рысь, то тяжесть тела переносишь на стремяна. Парню со здоровыми ногами это нетрудно... У него, разумеется, должно быть чувство равновесия. Он сливается с лошадью как бы в одно целое. Но ты не можешь сжать ногами бока лошади, Алан. С твоими ногами ты можешь добраться куда нужно, но для верховой езды они не годятся. Так что брось думать об этом. Мне хотелось, чтобы ты умел ездить верхом, и маме — тоже. Но, видно, не судьба... Так часто бывает: человеку хочется сделать и то и другое, но он не может. Я хотел бы стать таким, как ты, но не могу, а ты хочешь ездить верхом, как я, но не можешь. Вот нам обоим и не повезло.

Я молча слушал его, но мне не верилось, что это правда. Меня удивило, что он сам верит в свои слова. Всегда он бывал прав, а сейчас он впервые ошибся.

Я твердо решил научиться ездить верхом и даже в ту минуту с удовольствием представлял себе, как счастлив будет отец, когда в один прекрасный день я прогарцую мимо нашего дома на скакуне с круто изогнутой шеей и лошадь будет грызть удила, чувствуя, как твердо я держу поводья.

У одного из ребят в школе был арабский пони, по кличке «Звездочка».

Это был белый пони с длинным волнистым хвостом и быстрым ритмичным ходом. У него были сильные, сухощавые ноги, и ступал он по земле, как будто стараясь не обременять ее своим весом.

Я видел в Звездочке верх совершенства. И другие ребята в школе имели своих пони, но тем было далеко до Звездочки. Когда ребята скакали вперегонки — а это бывало часто, — я с удовольствием смотрел, как Звездочка выходила вперед, и восхищался ее резвостью.

Боб Карлтон, хозяин Звездочки, худой, рыжий парнишка, охотно беседовал со мной о своем пони: моя восторженность поощряла его к хвастовству.

— Я на Звездочке кого хочешь обгону, — говорил он, и я с готовностью соглашался.

Каждый день во время большой перемены он ездил поить Звездочку к водоему у дороги, за четверть мили от школы. Эта обязанность была ему в тягость, так как из-за нее он не мог участвовать в играх на школьном дворе, но его с детства приучили заботиться о своей лошади.

Однажды я предложил Бобу вместо него съездить к водоему на Звездочке, и он охотно согласился.

— Идет, — сказал он с радостью.

Боб всегда ездил туда без седла, но на этот раз он оседлал Звездочку и посадил меня на спину пони с напутствием дать ему полную волю, и он сам домчит меня до водоема и обратно, даже если я не дотронусь до поводьев.

Я и сам это понимал и решил держаться обеими руками за луку седла, не заботясь о поводьях.

Когда я уселся в седло и Боб укоротил стремяна, я нагнулся, приподнял руками «плохую» ногу и засунул ступню в стремя до подъема так, чтобы ее вес не обременял меня. То же самое я проделал с «хорошей» ногой, но она не была так сильно парализована, и оказалось, что я могу даже слегка опираться на нее.

Затем я взял поводья и, не выпуская их, сжал руками луку седла. Я не мог дергать за поводья, но, когда Звездочка поворачивала голову, они натягивались, и мне казалось, что я сам управляю ею.

Пони проворно выбежал из ворот на дорогу и повернул в сторону водоема. Я думал, что буду чувствовать себя в седле уверенно и устойчиво, но ошибся. От напряжения у меня начали болеть пальцы. Опасаясь упасть, я не смел выпустить луку седла, откинуться и сесть посвободнее. Меня охватили стыд и злость, — злость на свое бессильное тело.

Добравшись до водоема, Звездочка погрузила морду глубоко в воду. Я

посмотрел на ее шею, круто опускающуюся от луки седла, и, положив одну руку на круп пони, откинулся назад, чтобы не смотреть в водоем.

Пони пил, шумно втягивая воду, но через минуту поднял голову над поверхностью воды и, прижав уши, стал всматриваться в лужайку по ту сторону водоема.

Каждое его движение запечатлевалось в моем мозгу с необыкновенной ясностью. Вот я совершенно самостоятельно еду на пони; вот так пони пьет воду, вот какой у него на спине всадник, а вокруг никого нет; вот что значит ездить верхом.

Я поглядел вниз, на землю, на разбросанные там и сям камни, о которые может удариться костыль, на грязь вокруг водоема, в которой костыль может поскользнуться. Сейчас все это уже не страшно для меня. Когда я верхом на пони, эти препятствия уже не существуют и нечего о них думать.

Высокая трава, в которой запутываются костыли, крутые подъемы, вызывающие одышку, твердая неровная земля — сейчас я думал о них отвлеченно и спокойно, радуясь, что все это теперь не может привести меня хотя бы в минутное отчаяние.

Пони снова начал пить. Я наклонился вперед и дотронулся рукой до нижней части его горла, чтобы почувствовать, как там, пульсируя, проходит вода, которую он глотает. У него были крепкие мышцы и большое сердце. Я вдруг ощутил страстную и отчаянную любовь к нему.

Напившись, он повернулся, и я чуть не слетел на землю, но страх мой исчез. Я сжал руками луку седла и спокойно доехал до школы. Пони шагал подо мной без малейшего усилия, без всякого напряжения, и мне казалось, что его ноги — мои.

Боб снял меня с седла.

— Ну, как бежала Звездочка? — спросил он.

— Хорошо, — ответил я. — Завтра снова поеду, ее поить.

Глава 30

Каждый день я ездил на Звездочке к водоему. Я сам взнуздывал и седлал ее, потом отводил к Бобу, он помогал мне сесть верхом и ставил мои костыли у стены школы.

Через несколько недель я освоился в седле настолько, что уже мог не думать все время о том, как бы не упасть. Я сидел свободнее и уже не так цеплялся за луку.

Но по-прежнему я не мог справиться с поводьями. Я не мог ни сдерживать пони, ни направить в ту или иную сторону. Бродя по зарослям или путешествуя в своей коляске, я обдумывал, как с этим быть. Вечером, прежде чем заснуть, я изобретал седла с движущимися ручками, со спинками, как у стульев, с ремнями, чтобы привязывать ноги к бокам лошади, но, сидя на спине Звездочки, понимал, что все это бесполезно. Я должен научиться держаться в седле, не прибегая к помощи ног, постигнуть искусство ездить верхом не держась!

За несколько ярдов от водоема я начинал погонять пони, побуждая его идти легкой рысью, постепенно увеличивал это расстояние и довел его в конце концов до сотни ярдов.

Такая езда доставляла мне мало приятного. Меня сильно подбрасывало в седле, а смягчать толчки, пружиня ногами, я не мог.

Ребята наблюдали за моей верховой ездой, но не смеялись надо мной. Я все делал по-своему, и они привыкли к этому. Держался я в седле очень неустойчиво и легко мог свалиться. Однако, заметив, что я не боюсь упасть, они потеряли к этому интерес.

Ребята, имевшие своих пони, часто возвращались домой галопом. Меня удивляла легкость, с какой они держались в седле. Нетерпеливое желание как можно лучше овладеть этим искусством охватило меня. Ведь то, что умеют делать другие ребята, несомненно, сумею и я. Но то, чего требовал мой разум, было недоступно моему телу. Месяц за месяцем я трусил на Звездочке к водоему, но лучшим наездником от этого не стал. Чтобы не упасть, мне надо было, как и раньше, держаться за луку седла; я ни разу не скакал даже легким галопом и по-прежнему не мог управлять пони. Целый год я должен был удовлетворяться ездой шагом или медленной рысцой, но наконец решился пустить пони галопом, даже если это грозит мне падением.

Я спросил Боба, легко ли при галопе усидеть в седле.

— Еще бы, черт возьми, — ответил он, — сидишь как на лошади-качалке. Это легче, чем ездить рысью. Когда Звездочка идет галопом, я ни на минуту не отрываюсь от седла. У нее галоп не как у пони, а как у лошади.

— А перейдет она на галоп сразу, без быстрой рыси? Боб заверил меня, что так оно и будет.

— Наклонись вперед и подгони ее, — сказал он. — Только тронь каблук, и она сейчас же перейдет на галоп.

Я попробовал в тот же день. Недалеко от водоема дорога шла слегка в гору. Подъехав к этому месту, я быстро наклонился вперед и чуть-чуть

ударил пони «хорошей» ногой.

Он сразу пошел легким галопом, я стал подпрыгивать в такт волнообразным, качающимся движениям, свежий ветер дул мне в лицо, хотелось кричать от радости. Пони перешел на шаг и остановился у водоема; когда он начал пить, я откинулся посвободней в седле и тут почувствовал, что весь дрожу.

С тех пор я ездил галопом каждый день и сидел в седле совершенно уверенно, даже когда пони делал резкий поворот у школьного забора.

Но я все еще держался руками за луку седла.

К водоему вели две дороги. Одна пролежала мимо школы, другая сворачивала в проулок позади школы и выходила к шоссе с другой стороны здания; этой дорогой пользовались редко. Извивающиеся колеи, оставленные повозками, иногда проезжавшими по ней, прятались в траве между глухими изгородями.

Одна изгородь представляла собой четыре ряда колючей проволоки, натянутой между столбами. Вдоль нее шла дорожка к водоему, протоптанная бродячим скотом. Клочки рыжей шерсти торчали на проволоке там, где животные, проходя, задевали за шипы.

Мне иногда хотелось вернуться с водоема в школу по этой тропинке, но так как я не мог управлять движениями Звездочки, приходилось ехать той дорогой, которая правилась ей.

Как-то зимой, собираясь пуститься в обратный путь с водоема, я резко толкнул пони каблуком, и он пошел быстрым галопом, но, вместо того чтобы направиться обычной дорогой, свернул в проулок.

Я был доволен. Много раз отдыхал я здесь, возвращаясь от подножия горы Туралла, и этот проулок всегда напоминал мне об усталости. Не легко было ходить по высокой спутанной траве, по каменистым тропинкам, и сейчас я глядел вниз на быстро мелькавшие подо мной растения и камни и поражался, с какой легкостью я проносился над ними. Трудности, которые они для меня всегда представляли, теперь уже не занимали моих мыслей, и я с любовью смотрел на твердую, неровную землю.

Пони свернул с главной дорожки и поскакал по тропке у изгороди — такого маневра я никак не предвидел. Когда он выбрал этот путь, я понял грозящую мне опасность и сжал луку седла со всей силой, как будто этим можно было заставить пони уйти от изгороди, от торчащих шипов.

Он мчался вперед, а я смотрел на свою «плохую» ногу, беспомощно болтающуюся в стремях, и на колючую проволоку, мелькающую всего в нескольких дюймах от нее.

На мне были длинные бумажные чулки, перетянутые резинками

повыше колен. Моя «плохая» нога под чулком была забинтована, так как зимой она всегда покрывалась болячками.

Взглянув вперед, туда, где тропинка подходила совсем близко к изгороди, я понял, что через минуту в мою ногу вонзится колючая проволока. Мне не было страшно, но меня возмущало то, что я должен покориться этому без борьбы.

Я хотел было броситься на землю. Я сделал вдох и скомандовал себе: «Падай!» И не смог решиться. Я представил себе, как ломаю руку и не в состоянии больше пользоваться костылями. Мой взгляд снова скользнул по изгороди.

Когда первые шипы зацепили мою ногу, они оттянули ее назад, к боку пони, когда же тропинка слегка отошла от изгороди, нога освободилась на мгновение и повисла, болтаясь рядом со стремяном, пока ее снова не зацепило проволокой. Шипы прорвали чулок и бинты, и я почувствовал, что по ноге заструилась кровь. Все во мне застыло. Я больше не смотрел на ногу. Я посмотрел туда, где проулок кончался и тропинка уходила в сторону от изгороди, и приготовился терпеть боль в истерзанной проволокой ноге.

Путь до конца проулка показался мне длинным, хотя Звездочка пробежала его плавным галопом, не замедляя шага. Она свернула за угол и остановилась у школы с поднятой головой и прядая ушами, но я едва держался в седле. — Боб и Джо помогли мне слезть на землю.

— Что случилось? — спросил Джо, наклоняясь и с тревогой всматриваясь в мое лицо.

— Она свернула в проулок и протащила мою ногу по колючей проволоке, сказал я.

— Зачем ей это понадобилось? — с удивлением воскликнул Боб, нагнувшись над моей ногой. — Она никогда раньше туда не сворачивала. Черт возьми, кровь так и хлещет, нога вся располосована. Чулок разорван. И чего ее туда понесло? Тебе, наверно, придется отправиться к доктору. Господи, ну и вид у твоей ноги!

— Надо перевязать ее на заднем дворе, пока никто не увидел, — быстро перебил его Джо. Джо прекрасно понимал меня.

— Может, у кого-нибудь из ребят найдется носовой платок? — спросил я. Я забинтовал бы ногу.

— Я спрошу у Пэrsa, — предложил Боб. — У него, наверно, есть.

Пэрс пользовался в школе репутацией маменькиного сынка, и все знали, что он носит в кармане носовой платок. Боб ушел искать Пэrsa, а Джо и я отправились на задний двор школы. Там я сел, спустил изодранный чулок и снял лохмотья, оставшиеся от повязки. Открылись кровоточащие

царапины. Они были неглубоки, но многочисленны, и кровь медленно стекала по покрытой болячками холодной синеватой коже. Джо и я молча смотрели на ногу.

— Все равно тебе эта нога только всегда мешала, — наконец вымолвил Джо, стараясь утешить меня.

— Черт с ней, — свирепо пробормотал я. — Черт с ней, с моей проклятой ногой! Погляди, не идет ли Боб.

Боб спешил к нам с носовым платком, который он почти силой вырвал у Пэrsa, а Пэре шел за ним следом, чтобы узнать, какая судьба постигнет его платок.

— Ты должен завтра принести его, — предупредил он меня и поперхнулся, увидев мою ногу. — Ох, смотрите! — воскликнул он.

С помощью платка и моей рваной повязки я крепко забинтовал ногу и поднялся, опираясь на костыли, а Джо, Боб и Пэрс отступили, ожидая, что я скажу.

— Ладно, сойдет... — буркнул я после секундного молчания, проверяя, затихает ли жгучая боль.

— Через все эти тряпки кровь не может просочиться, — заметил Джо. Никто ничего не узнает.

Глава 31

Мать так и не узнала, что я поранил ногу. Я всегда сам промывал и перевязывал свои болячки, она лишь приносила мне миску с горячей водой, чистый бинт и вату для прокладки между пальцами. Иногда мне казалось, что придется все же сказать ей, потому что порезы на холодной мякоти ноги упорно отказывались заживать, но с наступлением теплой погоды все прошло.

Я продолжал ездить на Звездочке к водоему, но теперь пускал ее вскачь, только когда мы выезжали на дорогу к школе и поворот в проулок оставался позади.

Часто я пробовал ездить, держась за седло только одной рукой, но из-за искривления позвоночника меня всегда клонило влево, и одной руки было недостаточно, чтобы удержать меня от падения на эту сторону.

Однажды, когда Звездочка шла шагом, я решил попробовать держаться за седло в разных местах в поисках более устойчивой опоры. Благодаря тому, что я был крив на левый бок, я мог, не напрягаясь, дотянуться левой рукой гораздо дальше, чем правой. Подвинувшись немного вправо, я сунул

левую руку под крыло седла как раз под своей ногой, где подпруга пересекает седло и уходит под крыло. Схватившись за подпругу именно в этом месте, я, потянув за ремень, мог сопротивляться наклону влево, а упираясь в прокладку седла наклону вправо.

Впервые я почувствовал себя в седле совершенно уверенно. Я схватил поводья правой рукой, левой взялся за подпругу, пустил Звездочку легким галопом, и оказалось, что никакие толчки мне больше не страшны. Я сидел свободно и спокойно, приподнимаясь и опускаясь вместе с движением пони, испытывая неизвестное мне ранее чувство полной безопасности и уверенности.

Теперь я научился управлять Звездочкой. Движением руки я мог послать ее вправо или влево, при повороте я наклонялся вместе с ней и откидывался назад, когда она вновь выравнивалась и шла прямо. Держась за подпругу, я был как бы привязан к седлу и в то же время мог менять позу, смотря по обстоятельствам.

Некоторое время пони шел галопом, потом я, повинувшись внезапному порыву, криками стал подгонять его. Я почувствовал, что его тело напряглось как струна, и он пошел карьером. Волнообразное качание перешло в ровный бег, частая дробь цокающих копыт зазвучала в моих ушах, как музыка.

Это ощущение было слишком необычным, чтобы повторить его, чтобы растратить его в один день. Я возвратился в школу шагом, напевая песенку. Ждать, пока придет Боб и снимет меня с пони, я не стал; сам соскользнул с седла, упал на землю и пополз к костылям, стоявшим у стены; потом поднялся, отвел Звездочку в загон, расседлал и остаток перемены, пока не прозвенел звонок, простоял у забора, глядя на пони.

Всю вторую половину дня я не мог сосредоточиться на уроках. Я думал об отце, о том, как он обрадуется, когда я докажу ему, что умею ездить верхом. Мне хотелось завтра же приехать домой на Звездочке и показаться отцу, но я знал, какие вопросы он задаст мне, и чувствовал, что до тех пор, пока не смогу садиться на пони и слезать с него без посторонней помощи, у меня не будет права сказать: «Я умею ездить верхом».

«Спешиваться я научусь скоро, — рассуждал я. — Если бы слезать с пони где-нибудь поблизости от костылей, то можно одной рукой держаться за седло, а другой взять костыли и поставить их под мышки. А вот садиться верхом — это другое дело. Нужны сильные ноги, чтобы поставить одну в стремя, а другой оттолкнуться от земли. Мне надо придумать какой-то другой способ».

Иногда, играя дома, я брался одной рукой за верхнюю перекладину калитки, а другой за ручку костыля и потом медленно подтягивался на руках высоко над забором. Я часто пробовал свои силы таким образом и решил повторить этот фокус со Звездочкой вместо калитки. Если она будет стоять смирно, мне это удастся.

На следующий день я сделал первую попытку, но пони все время двигался, и я несколько раз падал. Тогда я попросил Джо подержать его, взялся одной рукой за луку седла, другой за ручку костылей, составленных вместе, сделал глубокий вдох, одним движением подтянулся на руках и сел в седло. Я повесил костыли через правую руку, но они пугали пони, и пришлось отдать их Джо.

Каждый день Джо держал Звездочку, чтобы я мог сесть на нее сам, но через две недели пони так привык к моему броску на его спину, что уже не делал попытки двигаться до тех пор, пока я не усаживался в седле прочно. После этого я больше не просил Джо держать его, но все еще не мог брать с собой костыли.

Показав Бобу, в каком положении мне удобней возить костыли, я попросил его поехать на Звездочке, перебросив их через правую руку. Он проделывал это каждый день после школы, и Звездочка перестала их бояться. Таким образом, я смог ездить на пони с костылями.

Когда он шел легким галопом, они ударялись о его бок, а при карьере их отбрасывало назад, но пони их уже больше не пугался.

Он не был тугоуздом, и я с легкостью управлял им, держа поводья в одной руке. Я ездил с укороченными поводьями, чтобы, откинувшись назад, своим весом увеличить их натяжение. Он слушался малейшего движения моих рук, когда мне надо было его повернуть. Вскоре он уже поворачивался на одних задних ногах, как дрессированный иуни. Оказалось, что, толкая седло снизу рукой, которой я держался за подпругу, я мог приподниматься во время езды рысью, и времена, когда меня било о седло, миновали навсегда.

Звездочка никогда не шарахалась в сторону. Она всегда бежала прямо, поэтому я чувствовал себя уверенно и не опасался, что она может меня сбросить. Я не понимал, что для того, чтобы удержаться в седле, когда пони вдруг отпрянет вбок, нужны здоровые ноги, так как со мной пока таких случаев не бывало. Я считал, что сбросить меня может только лошадь, встающая на дыбы, и начал ездить более отчаянно, чем другие ребята в школе.

Я проносился галопом по пересеченной местности, недоступной для моих костылей, — я попирал ее ногами, крепкими, как сталь, ногами

Звездочки, которые теперь я ощущал, как свои собственные.

Там, где другие ребята старались объехать холм или насыпь, я мчался напрямик, однако когда мы ходили пешком, то, наоборот, я обходил возвышенности, а все мальчишки взбирались на них.

Теперь я мог побывать везде, где бродили они, и всю часовую перемену выискивал места, где не смог бы пройти на костылях, и, проезжая по ним верхом, становился равным своим товарищам.

Но я не знал, что мной руководит именно это побуждение. Я ездил по таким местам потому, что мне так нравилось. Другого объяснения у меня не было.

Иногда я проезжал галопом по проулку. В конце его был крутой поворот на шоссе. На противоположном углу была построена пресвитерианская церковь, и его называли «Церковный угол».

Однажды я на полном галопе завернул за «Церковный угол». Накрапывал дождь, и мне хотелось добраться до школы сухим. Женщина, которая проходила мимо церкви, неожиданно раскрыла зонтик, и пони на всем скаку резко шарахнулся в сторону.

Я почувствовал, что падаю, и попытался заставить себя вытащить ступню «плохой» ноги из стремени. Я всегда ужасно боялся, чтобы лошадь не протащила меня за собой по земле. Отец раз видел, как лошадь неслась во весь опор, таща за собой седока, запутавшегося одной ногой в стремени, и я на всю жизнь запомнил его рассказ о том, как тело всадника подпрыгивало на кочках, увлекаемое скачущей лошастью.

Ударившись о шоссе и ощутив, что ноги мои свободны, я почувствовал облегчение. Несколько мгновений я лежал неподвижно, опасаясь, что переломал себе все кости, потом сел и стал ощупывать ноги и руки, болевшие от ушибов. На голове вскочила шишка, на локте была большая ссадина.

Звездочка галопом помчалась к школе, и я знал, что Боб и Джо скоро появятся с моими костылями. Я сидел на дороге, стряхивая пыль со штанов, и вдруг заметил женщину с зонтиком. Она бежала ко мне с выражением такой тревоги и страха на лице, что я быстро оглянулся, проверяя, не случилось ли сзади меня что-нибудь ужасное. Но, кроме меня, на дороге никого не было.

— Ох! — воскликнула она. — Ты упал? Я видела. Бедный мальчик, ты ушибся? Ох, в жизни этого не забуду!

Это была миссис Конлон, знакомая моей матери, и я подумал: «Она скажет маме, что я упал. Завтра придется показать отцу, что я умею ездить верхом».

Миссис Конлон торопливо бросила свои свертки на землю и, положив руку на мое плечо, заглянула мне в лицо. Рот ее был полуоткрыт.

— Ты ушибся, Алан! Говори! Что скажет твоя бедная мама? Что ж ты молчишь?

— Со мной ничего не случилось, миссис Конлон, — заверил я ее. — Я жду своих костылей. Джо Кармайкл принесет их, когда увидит пони.

Я твердо верил, что Джо быстро сообразит, что нужно предпринять. Боб тот примчался бы взбудораженный и растрезвонил бы о происшедшем на весь мир! Ну, а Джо, не поднимая шума, прибежит с моими костылями, думая лишь о том, как бы скрыть случившееся от всех.

— Ты не должен ездить верхом, Алан, — продолжала миссис Конлон, отряхивая мои плечи. — Это плохо кончится, вот увидишь. — В ее голосе звучали нежные, добрые нотки, она встала подле меня на колени и нагнула голову так, что ее лицо очутилось рядом с моим. Она ласково улыбалась мне: Ты не такой, как другие мальчики. И никогда не должен забывать об этом. Ты не можешь делать все то, что они. Если твои бедные отец и мать узнают, что ты едешь верхом, это разобьет им сердце. Обещай мне, что никогда больше не сядешь на лошадь. Ну, обещай!

Я с удивлением увидел слезы у нее на глазах, и мне захотелось утешить ее, сказать, что мне ее жаль. Хотелось подарить ей что-нибудь, заставить улыбнуться, сделать ее счастливой. Я всегда замечал эту грусть у взрослых, разговаривавших со мной. Как я ни старался, я не в силах был приобщить их к моему счастью. Они крепко держались за свою печаль. Причины этого я никак не мог понять.

Прибежали Джо и Боб. Джо нес мои костыли. Миссис Конлон вздохнула и поднялась с земли; пока Джо помогал мне встать и подставлял мне костыли, она смотрела на меня трагическим взглядом.

— Что случилось? — спросил он с тревогой.

— Звездочка шарахнулась и сбросила меня, но со мной ничего не случилось.

— Мы должны молчать об этом. Ни слова, — шепотом произнес Джо, поглядывая на миссис Конлон. — Держи язык за зубами, иначе тебе никогда не дадут сесть на лошадь.

Я попрощался с миссис Конлон. Уходя, она напомнила мне:

— Не забудь, что я говорила тебе, Алан.

— Одно можно сказать, — заявил Джо, оглядев меня с ног до головы, когда мы пошли к школе, — никакой беды не стряслось. Ты ходишь не хуже, чем всегда.

Глава 32

На следующий день, во время большой перемены, я поехал домой на Звездочке. Ехал я не спеша. Мне хотелось насладиться картиной, которая рисовалась моему воображению: как отец увидит меня верхом. Мать, пожалуй, встревожится, а отец положит мне руку на плечо, посмотрит на меня и скажет: «Я знал, что ты добьешься своего», — или что-нибудь в этом роде.

Когда я подъехал к воротам, он стоял у двери сарая, склонившись над седлом. Он не видел меня. Я остановил пони у ворот и несколько секунд смотрел на отца. Потом крикнул:

— Э-гей!

Он, не разгибая спины, повернул голову к воротам и так и замер в этом положении, а я, улыбаясь, глядел на него; потом он медленно выпрямился и пристально посмотрел на меня.

— Это ты, Алан? — произнес он вполголоса, как будто я сидел на лошади, которая могла испугаться его голоса и понести.

— Да! — воскликнул я. — Иди сюда, посмотри на меня. Только посмотри! Ты помнишь, ты говорил, что я никогда не буду ездить верхом? А теперь гляди. Э-гей! — крикнул я, как это делал иногда отец, когда скакал на норовистой лошади, наклонился вперед и, быстро приподнявшись, ударил Звездочку в бок пяткой «хорошей» ноги.

Белый пони рванулся вперед короткими скачками, потом, выровнявшись, пошел быстрым аллюром. Из-за плеча пони мне было видно его мелькавшее взад и вперед, как поршень, колено, я чувствовал его силу и движение лопаток при каждом шаге.

Я поехал вдоль нашего забора до купы акаций, потом осадил пони и откинулся назад, когда он, поворачиваясь, присел на задние ноги, а из-под его копыт летели камни, голова его то поднималась, то опускалась, пока, напрягаясь, он набирал скорость. Потом я помчался назад, и отец со всех ног побежал к калитке мне навстречу.

Я проехал мимо него, держа поводья в руке, покачиваясь в седле в такт движениям Звездочки. Снова кругом и обратно, наконец замедленный ход, остановка... Вот пони стоит у ворот, касаясь их грудью. Танцуя, он подается назад, взмахивает головой, его бока вздымаются. Воздух, с шумом вылетающий из его раздутых ноздрей, скрип седла, позвякивание уздечки — сколько раз я мечтал, что услышу эти звуки, сидя верхом на гарцующей лошади, и сейчас я слышал их и чувствовал запах пота, запах

лошади после галопа.

Я взглянул на отца и с тревогой заметил, что он побледнел. Мать вышла из дома и торопливо направилась к нам.

— Что случилось, папа? — быстро спросил я.

— Ничего, — сказал он. Он продолжал смотреть на землю, и я слышал его дыхание.

— Тебе не нужно было так бежать к калитке. Ты совсем задохнулся.

Он взглянул на меня и улыбнулся, потом обернулся к матери, которая, подойдя к забору, протянула ему руку.

— Я видела, — сказала она.

Секунду они смотрели друг другу в глаза.

— Он весь в тебя, — произнесла мать и, повернувшись ко мне, спросила: Ты сам выучился ездить верхом, Алан, да?

— Да, — ответил я, пригибаясь к шее Звездочки так, чтобы быть поближе к ним. — Я учился не один год. И слетел по-настоящему только один раз — вчера. Ты видел, я сделал поворот, папа? — обратился я к отцу. — Ну, что ты скажешь? Умею я ездить верхом?

— Да, — ответил он, — ты хорошо едешь, у тебя уверенная рука и хорошая выправка. Как ты держишься, покажи?

Я объяснил, что держусь за подпругу, рассказал ему, как ездил на Звездочке к водоему, как научился садиться и сходить с нее, опираясь рукой на костыли.

— Я оставил костыли в школе, а то бы показал вам.

— Ничего... в другой раз. Ты чувствуешь себя уверенно в седле?

— Как на диване.

— Спина у тебя не болит, Алан? — спросила мать.

— Ничуть, — ответил я.

— Будь очень осторожен, хорошо, Алан? Я рада, что ты едешь верхом, но мне не хотелось бы увидеть, как ты падаешь.

— Я буду очень осторожен, — обещал я и добавил: — Мне надо вернуться в школу, я могу опоздать.

— Послушай, сынок, — сказал отец, и лицо его стало серьезным. — Теперь мы знаем, что ты умеешь ездить верхом. Ты промчался во весь опор мимо калитки. Но так ездить не надо. Если ты будешь скакать как угорелый, люди скажут, что ты новичок, и подумают, что ты не знаешь лошадей. Хорошему наезднику не нужно рваться и метаться, как спущенному с цепи щенку, только для того, чтобы показать, что он умеет ездить верхом. Настоящий наездник ничего не должен доказывать. Он изучает свою лошадь. И ты делай это. Относись к этому спокойно. Ты

умеешь ездить верхом — прекрасно, но не пускай пыль в глаза. Галоп хорош на прямой дороге, но если ты будешь ездить так, как сейчас, ты очень быстро вымотаешь из лошади все силы. Лошадь как человек: от нее больше всего толку, если с ней обращаться справедливо. А сейчас поезжай в школу шагом и разотри Звездочку, прежде чем отпустить ее.

Он помолчал немного и добавил:

— Ты хороший парень, Алан. Ты мне нравишься, и, по-моему, ты хороший наездник.

Глава 33

На дорогах начали появляться автомобили. Поднимая тучи пыли, они проносились по большакам, предназначенным для обитых железом колес повозок. По их милости дороги были усеяны выбоинами; из-под их колес на встречные экипажи, барабаня по щиткам, летели острые кусочки гравия. Они врзались в стада, оглушительно сигналив, и перепуганные животные разбегались. На машинах были большие медные ацетиленовые фонари, медные радиаторы и прямые величественные передние стекла, за которыми, наклонясь и глядя вперед, сидели люди в пыльниках и темных очках. Они судорожно сжимали руль. Иногда они дергали его, как вожжи.

Испуганные лошади шарахались от дыма и шума пронесившихся автомобилей, а рассерженные возчики, стоявшие во весь рост в повозках, оттесненных на придорожную траву, ругались вовсю и со злостью смотрели, как медленно оседает пыль на дороге.

Фермеры оставляли ворота своих загонов открытыми, чтобы можно было увести подальше от дороги дрожащих от испуга, встающих на дыбы лошадей и переждать, пока автомобиль проедет мимо.

Питер Финли теперь уже не был конюхом миссис Карузерс; он стал ее шофером, носил форму и кепи с козырьком; распахивая перед хозяйкой дверцу машины, он стоял навтыжку, пятки вместе, носки врозь.

— Чего вы загромождаете дорогу? — как-то спросил его отец. — Разве она ваша? Все должны съезжать на траву, как только вы появляетесь на шоссе.

— На автомобиле не проедешь по траве, как на лошади, — объяснил Питер. — Мне нельзя свертывать с мощеной дороги, а места хватает лишь только для одного.

— Конечно, и этот один — миссис Карузерс, — сердито произнес отец. — До того дошло, что я начинаю бояться выезжать на молодой

лошади. Будь у меня лошадь, которая не пугалась бы машины, я поехал бы прямо на вас.

С тех пор, если отец проезжал по шоссе на молодой лошади, Питер всегда останавливал автомобиль, но все равно лошадь сворачивала и мчалась на траву, как ни натягивал поводья отец, осыпая ругательствами всех и вся,

Он ненавидел автомобили, но говорил мне, что их будет все больше и больше:

— Когда тебе стукнет столько лет, сколько мне, Алан, ты сможешь увидеть лошадь только в зоопарке. Дни лошади сочтены.

Ему все меньше приходилось объезжать лошадей, и жизнь дорожала, но он все-таки сумел скопить десять фунтов, купил несколько банок коричневой мази, которой мать стала натирать мне ногу. Это было какое-то американское снадобье, под названием «Система Виави», и торговец, продавший мазь отцу, гарантировал, что после лечения я начну ходить.

Месяц за месяцем мать натирала мне ноги этой мазью, пока запас ее не кончился.

Отец с самого начала не верил в это средство, но, когда мать сообщила ему, что мазь вся вышла, с горечью сказал:

— Я, как дурак, надеялся на чудо. Он заранее подготовил меня к неудаче, и я не испытывал особого разочарования.

— И не стану я больше тратить время на лечение, — заявил я отцу. — Это только мешает мне.

— Я тоже так думаю, — ответил он.

Теперь я ездил на пони, которых он недавно закончил объезжать, и часто падал. Пони, начинающие ходить под седлом, легко бросаются в сторону, а я так и не научился ездить на пугливой лошади.

Я был убежден, что каждое падение будет для меня последним, но отец был другого мнения:

— Все мы говорим так, сынок, после каждого падения, но когда на самом деле падают в последний раз, этого уже не чувствуют.

Однако мои полеты все же беспокоили его. Некоторое время он был в нерешительности, потом вдруг начал учить меня, как падать: ослабив мускулы, свободно, так, чтобы удар о землю был мягче.

— Всегда можно преодолеть препятствие, — внушал он мне, — если не одним способом, так другим.

Он быстро находил решение всех трудностей, связанных с моими костылями, но и он не мог посоветовать мне, чем заняться, когда я окончу школу.

Всего два месяца оставалось до конца учебного года и моего последнего дня в школе. Мистер Симмонс, лавочник в Туралле, обещал платить мне пять шиллингов в неделю, если по окончании школы я возьмусь вести его книги. Но хотя мне приятно было думать, что я смогу зарабатывать деньги, я хотел найти такую работу, которая явилась бы для меня испытанием и потребовала бы особого напряжения сил и способностей, свойственных мне одному.

— Кем ты хочешь быть? — спросил меня отец.

— Я хочу писать книги.

— Что ж, дело хорошее, — сказал он. — Ты можешь этим заниматься, но как ты думаешь зарабатывать себе на жизнь?

— Люди же зарабатывают деньги книгами, — возразил я.

— Да, но только после многих и многих лет труда. И потом, надо для этого быть очень образованным. Питер Финли говорил мне, что написать книгу труднее всего на свете, — он пробовал. Имей в виду, я за то, чтобы писать книги; не думай, что я не хочу этого, но сначала тебе надо учиться.

Он немного помолчал, а затем заговорил таким тоном, словно давно был убежден, что я когда-нибудь буду писателем.

— Когда ты станешь писателем, — сказал он, — будь таким, как Роберт Блэчфорд, человек, который написал «Невиновен»; это замечательная книга. Она была написана, чтобы помочь людям. Видишь ли, — продолжал он, — писать книгу ради денег не стоит. Лучше уж быть объездчиком лошадей. Когда объезжаешь лошадей, то делаешь что-то хорошее из того, что могло бы стать плохим. Легко сделать из лошади никчемную, вредную тварь, но трудно придать лошади, ну... характер, что ли, заставить ее помогать тебе, а не противиться. Когда я впервые познакомился с Питером, он дал мне почитать книгу «Моя блестящая карьера». По его словам, эту книгу написала женщина; но она себя называет Майлс Франклин. Это лучшая книга из всех, что я прочитал. Эта писательница Майлс Франклин не боится брать барьер, не уклоняется в сторону. Это настоящий человек, и сердце у нее есть... Не знаю... писать книги — не забава... Думаю, ты себе это дело неправильно представляешь. Тебе кажется, что ты будешь черт знает как хорошо и весело проводить время, когда станешь писать книги. Видишь ли, когда тебя хорошенько потрянут разок-другой, ты, может быть, поймешь меня.

Мы сидели на верхней перекладине забора в загоне и смотрели на жеребенка, которого он приучал к узде. Жеребенок грыз тяжелые удила. Рот у него был красный, воспаленный.

— У него слишком длинная спина, — вдруг сказал отец, затем

продолжал наш разговор: — Если кто-нибудь даст тебе сотню фунтов за книгу, можешь об заклад биться, что это ему выгодно, но если все бедные и обездоленные люди снимут перед тобой шапки за то, что ты' написал ее, — это другое дело; это всего дороже. Но тебе прежде надо пожить среди народа. Ты полюбишь его. Эта страна принадлежит нам, и мы сделаем ее раем. Люди здесь равны. Во всяком случае, желаю тебе удачи. — И добавил: — Пиши книги. Но пока ты не встанешь на ноги, поработай у Симмонса.

Через несколько дней мистер Симмонс показал мне объявление в «Веке». Коммерческий колледж в Мельбурне объявлял о приеме на бухгалтерские курсы. Экзамены по истории, географии, арифметике и английскому языку. Тем, кто их выдержит, обещана стипендия. Желающрш поступить должны послать заявление по почте, и экзаменационные вопросы будут высланы местному школьному учителю.

Я написал заявление, и через неделю мистер Тэкер сообщил мне, что бумаги прибыли.

— Прошу заметить, Маршалл, — строго сказал он, обращаясь ко мне, как будто я обвинил его в чем-то, — что печать на конверте не сломана. Это значит, что вопросы до экзамена не увидит никто. Я сообщил Вильяму Фостеру об этом экзамене, и он тоже будет держать его, чтобы получить стипендию. Попрошу тебя явиться в школу в субботу в десять утра ровно. А теперь садись на место.

Вильям Фостер был любимчиком Тэкера и лучшим учеником. Он мог одним духом выпалить названия всех рек в штате Виктория и, проделывая упражнения по устному счету, прижимал обе руки ко лбу, чтобы видно было, что он не прибегает к помощи пальцев.

Решая задачу, он всегда загоразивал тетрадь рукой, чтобы другие у него не списывали, но если мне это было нужно, я толкал его под ребро, и он убирал руку.

Его мать очень гордилась им и как-то сказала моей, что, если бы не он, я никогда не решил бы ни одной задачи.

Встретив его утром около школы, я предложил сесть вместе во время экзамена, но Вильям Фостер был в праздничном костюме, и это повлияло на его отношение ко мне. Он держался сухо, был неразговорчив и заявил мне, что его мать велела ему сесть от меня подальше.

Это было ударом для меня, но я последовал за ним и сел рядом, не обращая внимания на все его попытки отделаться от моего общества.

Мистер Тэкер заметил мою тактику и приказал мне пересесть в другой конец класса. Я устроился около окна и, глядя на гору Туралла, зеленый

наряд которой сверкал на солнце, думал о Джо и о том, какой это чудесный день для ловли кроликов.

Мистер Тэкер постучал по столу и возгласил:

— Сейчас я вскрою печать на конверте с экзаменационными вопросами коммерческого колледжа Пультера. Прошу вас обоих заметить, что печать нетронута.

Он сорвал шнурок и вынул из конверта бумаги с вопросами, не сводя с меня своих злых глаз.

Затем он погрузился в чтение бумаг. Длилось это минут двадцать, он то хмурился, то поднимал голову и одобрительно поглядывал на Вильяма Фостера, который, как бы благодаря учителя за доверие, наклонил голову.

Мне очень хотелось поставить Тэкеру синяк под глазом, а потом удрать к Джо.

В воображении я уже рассказал Джо об этом синяке, когда Тэкер, прервав мои размышления, передал нам вопросы. Он посмотрел на часы и коротко сказал:

— Сейчас десять тридцать; в одиннадцать тридцать вы должны дать свои ответы.

Я стал разглядывать желтый кусок бумаги с напечатанными на нем вопросами.

«Вычислите сложные проценты...» А, это легко...

«Если десять человек возьмут...» Пропорции! Это уже легче легкого.

«Участок земли в четыре и три четверти акра...» Это труднее — гм!

Я взялся за работу, а Тэкер, сидя за столом, погрузился в чтение «Филд» — английского журнала, печатавшегося на глянцевой бумаге.

Вопросы не показались мне особенно трудными, но когда потом, покидая класс, я сравнил свои ответы с ответами Вильяма, то решил, что сделал все неправильно, поскольку у Фостера было по-другому.

Я сказал отцу, что провалился.

— Ничего, — ответил он. — Во всяком случае, ты попробовал, а это главное.

За неделю до конца учебного года почтальон доставил адресованный мне длинный коричневый конверт. Он отдал его отцу, и когда я вернулся из школы, мать, отец и Мэри собрались на кухне, ожидая, чтобы я его вскрыл.

Я разорвал конверт и вынул сложенный вдвое лист бумаги, а они заглядывали через мое плечо.

— «Дорогой сэр, мы имеем удовольствие сообщить вам, что вам назначена полная стипендия». Мне дали стипендию! — воскликнул я, не веря своим глазам, и взглянул на родных, как бы прося объяснения.

— Покажи-ка, — сказал отец и взял листок из моих рук.

— Действительно дали! — воскликнул он взволнованно. — Вот, прочти. — Он протянул письмо матери. — Можешь себе представить: здесь на самом деле так написано. Вообрази только — стипендия! Кто бы думал, что он получит стипендию! Сам себе не верю. — Отец повернулся и хлопнул меня по спине: Молодец, сынок! — Затем обратился к матери: — А за что он будет получать стипендию? Давай-ка прочтем еще раз. Кем он станет, когда выучится?

— Бухгалтером, — ответила Мэри, заглядывая в текст письма через плечо матери. — У бухгалтеров всегда собственные кабинеты, и вообще их все уважают.

— Кто у нас здесь бухгалтер? — спросил отец, стараясь представить себе, что это такое. — Счетовод в большом магазине в Балунге — бухгалтер, а?

— Нет, — решительно сказала мать. — Конечно, нет. Он счетовод. Бухгалтер должен быть очень образованным.

— Мистер Брайан, наверно, бухгалтер, — высказала предположение Мэри. Ну, тот — на маслобойной фабрике. Я слышала, что он получает шесть фунтов в неделю.

— Браки, — отрубил отец. — Даже управляющий получает меньше. Схожу узнаю у него самого, что такое бухгалтер. Во всяком случае, похоже, что нашим заботам пришел конец. Если Алан сможет когда-нибудь зарабатывать шесть фунтов в неделю, то ему будет море по колено.

Отец не стал терять времени. Он оседлал лошадь и поехал на фабрику. Вернувшись под вечер, он привез еще одну потрясающую новость: Вильям Фостер провалился.

— Истинная правда! — воскликнул отец, не в состоянии скрыть свое возбуждение. — Я встретил миссис Фостер, и она сказала — словно это невесть как неожиданно, — что получила письмо. А в нем говорится, что Вильяму разрешается держать экзамен еще раз в будущем году. Вы бы видели ее лицо, когда я сообщил ей об Алане! И я говорил с Брайаном, — продолжал он. — Ты права, Мэри, он настоящий бухгалтер! Он сказал, что заработок бухгалтера высшего класса бывает даже больше, чем шесть фунтов в неделю, хотя, может, он и присочинил, кто знает. Во всяком случае, они ведут расчеты крупных компаний — нефтяных и других в таком роде. К когда человек становится бухгалтером, рядом с его фамилией ставятся буквы его звания. Подождите, я посмотрю, я записал это... — Он пошарил в кармане и вытащил бумажку, которую искал. — Одну минуту. Я записал, когда Брайан мне рассказывал. Вот: Л. И. Б. - лицензиат института

бухгалтеров; не знаю, что это значит. Но Брайан говорит, что мало у кого есть это звание, и добиться права на эти буквы очень важно.

Отец с одобрением посмотрел на меня:

— Никогда не думал, что доживу до того дня, когда к имени Алана будут приписывать буквы...

И, движимый внезапным порывом, он вдруг поднял меня, совсем уже взрослого, на руки и прижал к себе.

В этот вечер он напился пьяным и с шумом и криком вернулся из трактира, когда все мы уже были в постели, и я слышал, как мать с тревогой спрашивала:

— Подрался с кем-нибудь?

— Нет, — отвечал отец, — просто обменялись парочкой ударов, и все.

Всю следующую неделю они с матерью засиживались до поздней ночи и разговаривали между собой, высчитывали что-то на бумаге, и я знал, что они обсуждают мое будущее.

В один прекрасный день отец сказал мне:

— Алан, мы с мамой решили, что все переедем в Мельбурн. Правда, потребуется время, чтобы устроить дела, но потом мы соберем наши пожитки и уедем всей семьей. Твое будущее там, а не здесь. Я подыщу себе работу, это будет нетрудно. А ты поступишь куда-нибудь в контору, пока будешь учиться на бухгалтера. Тебя всюду возьмут, когда узнают, что ты стипендиат. И все равно, я сейчас зарабатываю меньше, чем бывало. А дальше пойдет еще хуже: автомобилей на дорогах с каждым днем все больше и больше. Сегодня я видел штук восемь или девять. — И добавил: — А тебе хочется уехать?

— Да, — ответил я. — Я буду учиться, чтобы стать писателем и бухгалтером. Это, по-моему, будет здорово.

— Я тоже так считаю, — сказал отец.

Но когда я остался один и призадумался, я вдруг почувствовал, что не смогу расстаться с зарослями, которые в чем-то были источником моей силы. Я никогда не видел большого города. Теперь он встал в моем воображении огромной сложной машиной, вокруг которой хлопочут полчища Л. И. Б. с бледными лицами и гроссбухами. Эта картина подействовала на меня угнетающе, и я отправился на поиски Джо, который в это время ставил капканы в зарослях, неподалеку от дома. Когда я рассказал ему, что мы переезжаем в Мельбурн, он в раздумье посмотрел на капкан, который держал в руке, и сказал:

— Ты везучий, это точно. И так всегда было. Помнишь, как ты одним капканом поймал сразу двух кроликов?

— Да. — Я с удовольствием вспомнил этот случай.

Мы уселись на траву и стали говорить о Мельбурне, о трамваях и о тысячах людей, живущих в этом городе, и о том, как я стану зарабатывать шесть фунтов в неделю.

— Самое замечательное, — сказал Джо задумчиво, — что ты сможешь ходить в музеи, когда тебе вздумается. Чего там только нет — так все говорят.

— Конечно, я там побываю, но я хочу писать книги. В Мельбурне есть большая библиотека. Вот туда я буду ходить обязательно.

— Придется тебе отказаться от верховой езды, — заметил Джо. — В Мельбурне лошади исчезнут скорее, чем всюду.

— Да, конечно, — сказал я и вновь почувствовал грусть. — Но трамваем ведь можно ездить куда захочешь.

— Тебе там, наверно, будут мешать костыли, — задумчиво заметил Джо. — В этой толчее на улицах...

— Костыли! — воскликнул я, с презрением отбрасывая мысль о них. — Кто думает о костылях!

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Первая часть этой трилогии

Скваттер (англ.) — крупный землевладелец. (Прим. перев.)

Перевод стихов в этой повести И. Гуровой.

«Джонами» в Австралии называют полицейских. (Прим. перев.)

Вомбат — сумчатое животное, напоминающее большого сурка. (Прим. перев.)